

# Трезориум

**Автор:**

Борис Акунин

Трезориум

Борис Акунин

Семейный альбом #4

Новый роман Акунина-Чхартишвили из серии "Семейный альбом» («Аристонмия», «Другой путь», «Счастливая Россия»). Действие разворачивается в Польше и Германии во время Второй мировой войны.

Акунин-Чхартишвили

Трезориум

Текст печатается в авторской редакции, орфографии и пунктуации

© Akunin-Chkhartishvili, 2019

© «Захаров», 2019

\* \* \*

Всякая крякотень

Рэм всё думал о разговоре с пожилым капитаном.

Ночью не спалось. Вышел в тамбур – не покурить, а просто побыть одному. Все-таки здорово устал от того, что много месяцев подряд днем и ночью вокруг полно народу. В эшелоне даже хуже, чем в казарме. Все друг у друга на голове, и никуда не денешься. И ведь это еще не теплушка, а вагон для комсостава, настоящий плацкарт.

Стоял в темноте, наслаждался покоем. Стучали колеса, лязгали вагонные буфера, за черным стеклом ползли редкие огоньки – и никого. Ни голосов, ни сонного сопения, ни храпа.

Но скоро одиночество закончилось. Появился капитан из соседнего отсека. Сильно немолодой, лет сорока. Сел в Бресте, все время помалкивал, а тут заговорил. Оно и понятно. Странно находиться вдвоем в тесном железном ящике, да еще ночью, и не перемолвиться словом.

Сначала капитан расстроился.

– Вы не курите? А я вижу, вышел кто-то. Думал огонька одолжить. Зажигалка у меня чего-то...

Рэм поднес ему спичку. Осветилось мятое лицо с вытянутыми в трубочку губами, блеснули сощуренные глаза.

– А, младшой с верхней боковой. Из вузовцев? – спросил капитан, переходя на «ты». – Товарищи твои – совсем сад-ясли, а ты вроде постарше. Где учился, студент?

Слышать это было приятно, но Рэм с восьмого класса придерживался твердого правила: не изображай из себя то, чем не являешься.

– Нигде пока. Я в прошлом мае закончил десятилетку, и сразу в училище. Война закончится – поступлю. На физико-математический.

Капитан обрадовался:

– Я в техникуме математику преподавал! Основательная наука. Молодец, правильный выбор.

То-то лицо интеллигентное, подумал Рэм. И раз уж попался собеседник, с которым можно нормально поговорить, стал рассказывать, что его больше интересует физика, а именно физика космических полетов, потому что сумма технических знаний человечества уже сейчас делает навигацию в безвоздушном пространстве практически возможной и, когда после войны высвободятся научные кадры, ракеты обязательно полетят на Луну, а может быть и дальше. Главным событием двадцатого века будут не мировые войны, а прорыв человечества в космос. Как же в этом не поучаствовать?

Капитан послушал-послушал, удивленно покачал головой:

– Россия-матушка. Что с ней ни творись, а умненькие мальчики всё воспроизводятся, поколение за поколением. Лупит вас эпоха, начисто выкашивает, а вы снова прорастаете, непонятно откуда. Из литературы, что ли? Пети Ростовы, Володи Козельцовы. Вот по тебе видно, что ты книжек много читал, того же Толстого. Если ты собрался на Луну лететь, на кой тебя в училище понесло? В конце-то войны.

Про Толстого было правдой, Рэм даже удивился. Петя Ростов – ладно, «Войну и мир» в школе проходят, но «Сева стопольские рассказы» были прочитаны только что. Отец в письме посоветовал. Написал, что читал эту книгу в двадцатом году, перед фронтом. Она единственная, хоть сколько-то передающая правду войны. Там прапорщик Козельцов, добровольно отправившийся воевать, говорит: «Все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда умирают за отечество». Капитан, наверно, имел в виду это.

Стало немного обидно. Захотелось ответить по-взрослому. Честно. Показалось, что с этим капитаном можно.

– Я не из какого-то глупого героизма, я по расчету, – сказал Рэм и достал из пачки последнюю папиросу, чтобы поддержать солидную паузу, пока раскурится. – ... Подумал, исполнится восемнадцать – все равно призовут,

рядовым. А после десятилетки берут на ускоренный курс военно-пехотного училища. Во-первых, выйдешь офицером, а во-вторых, это восемь месяцев учебы. Глядишь, война закончится. Прошлым летом, когда немцы всюду драпали, казалось, скоро уже.

- Умненький-то ты умненький, но рассчитал хреново. Сделал большущую ошибку. Может стоить жизни. «Скороварки» для того и заведены, чтобы быстренько сварить картоху в мундире - и на стол.

- Какие скороварки?

Скороварку Рэм видел, когда дневалил на кухне: здоровенный котел с герметичной крышкой, в нем варили крупу на всю роту.

- Так на фронте называют твои ускоренные курсы. Ты в училище фронтовиков много видел?

- Мало. Троих только. И те недоучились.

- Правильно. Потому что дураков нет. Вашего брата зеленого младлея рассовывают в самые гиблые места. Своих, кого знают, берегут, а чужих не жалко - фронтовой закон. Вот увидишь: когда будешь получать назначение, тебе кадровик в глаза смотреть не станет. И живого слова от него ты не услышишь. Потому что младлей из пополнения - скоропортящийся продукт... Эх, парень, парень, устроил ты себе... - Капитан махнул в темноте папиросой - будто прочертил огненную черту. - Надо было спокойно призыва дожидаться. Тебе когда восемнадцать стукнуло?

- 20 января.

- Считай сам. Сейчас не сорок второй, сразу на передовую не послали бы. Сначала в учебку, это месяца три - уже апрель. А в мае война закончится.

- Это откуда известно?

- Говорят, Верховный приказал взять Берлин к Первомаю. Сейчас затишье. Готовятся. Но скоро попрем по всему фронту. Народу поляжет - море. У нас

знаешь как? Сказано к 1 мая – всё. Значит, за ценой не постоим. Ты без опыта, в батальоне чужой – сгоришь, как мотылек. Если, конечно, не включишь мозг. Тут как? Чем раньше с этих гиблых рельсов свернешь, тем выше шанс дожить до победы. На армейской распределителке, на корпусной, даже на дивизионной еще можно съехать. Но докатишься до полка – всё. Оттуда только в ваньки-взводные.

– Что ж, пускай другие на передовую идут? – набычился Рэм. Расчетливость расчетливостью, умирать никому неохота, но как-то оно звучало подловато.

– На фронте либо других жалеть, либо себя. Середины не бывает. Рано или поздно всякому приходится делать этот выбор. Знаешь, что на войне самое главное? Повысить балл выживания.

Капитан заговорил быстрее – видно, сел на любимого конька. Он уже докурил, но возвращаться в вагон не торопился.

– У меня расчислена целая теория, математическая. Ты слушай меня, парень. После спасибо скажешь. В вагоне, где много ушей, я тебе такого говорить не стал бы... Тут много вводных: род войск, должность, участок, фактор личных связей, и так далее, и так далее – всё имеет значение. Я на фронте с марта сорок третьего, и, как видишь, живой. Это мало кому удастся – два года продержаться.

Для фронтовика с таким стажем наград у капитана было немного: «звездочка» и «зэ-бэ-зэ».

– Правила у меня старинные: от службы не отказывайся, на службу не напрашивайся. Из-за первого – вон, нашивка за ранение. Слава богу, нетяжелое. А благодаря второму правилу я до сих пор хожу по земле, а не лежу в ней.

Эту присказку капитан, должно быть, произносил не впервые – больно складно она у него проговорилась.

– Теперь объясню про мою систему баллов. Это количество дней – сколько человек на той или иной позиции потенциально, в среднем, продержится до ранения или похоронки в ситуации «Икс». Это период наибольшей опасности. В прежние времена – оборона или окружение. Я в сорок третьем еще застал.

Сейчас ситуация «Икс» – это наступление. У командира стрелкового взвода во время наступления знаешь сколько баллов? Полтора. То есть в среднем взводный – подсчитано – воюет полтора дня, и каюк. Либо на носилки, либо вчистую. Половина выбывает в первый же день. Мотаешь на ус?

Рэм кивнул. В аттестате об окончании у него как раз значилось «командир стрелкового взвода».

– Ниже балл только у «прощайродины» – командира расчета сорокопятак. Эти бедолаги редко доживают до второго боя. Один балл. Обрати внимание, что у рядового пехотинца балл-два, то есть повыше, чем у взводного. Потому что тебе подниматься первому, гнать их в атаку... Дальше идут танкисты. Три балла. Тоже хреново. Ладно, не буду тебе всю свою линейку выстраивать, а то долго получится. – Капитан хмыкнул. Ему, кажется, нравилось, что младший лейтенант притих. – Хороший балл, с которым на фронте можно нормально существовать, начинается с пятидесяти. Это как минимум штаб полка. Туда и надо стремиться, если не сумел устроиться в тылу. Но тут нужны очень хорошие знакомства. У меня вот после госпиталя не получилось.

Теоретик вздохнул, но не очень тяжело.

– По моим возможностям, однако, устроился неплохо. Зам командира батальона по хозчасти. Это баллов сорок. До конца войны должно хватить. Если, конечно, не перекинут на «боевку». В наступлении всякое бывает... Ладно, бывай, физик космических полетов. Пойду. Надо поспать.

Он вяло сунул руку, зевнул, ушел.

Рэм, оставшись один, подумал тогда: не дай бог таким стать. Но с утра неприятный ночной разговор всё вертелся в голове, обрастая новыми мыслями – уже не про «баллы» и не про математического капитана. Тот сошел в Лодзи, вместе с половиной ребят из Рэмова выпуска – которые получили назначение на Первый Белорусский. Остальные ехали на Первый Украинский.

По дороге все споры были, кому повезет Берлин брать: маршалу Жукову с востока или маршалу Коневу с юга. Всем, конечно, хотелось лично добить фашистскую гадину в ее логове. Во всяком случае на словах. Рэму-то не особенно. А после капитанова карканья тем более. Поэтому, обнимаясь с

Петькой и Витькой, оставшимися в Лодзи, он искренне пожелал им закончить войну в Берлине.

Вошло много новых пассажиров. От Москвы большинство вагонов литерного были заняты вчерашними курсантами вроде Рэма Клобукова, а теперь загрузились фронтовики, в основном после госпиталей. Все с желтыми и красными нашивками за ранения, с боевыми наградами, напористые, шумные – будто десант ворвался. Согнали выпускников, кто занимал нижние полки, на верхотуру.

До отсека, где ехал Рэм, первым добрался старлей в лихо заломленной кубанке, почему-то со связкой велосипедных шин через плечо, и замахал, будто на утят:

– Кряк-кряк отсюда, зелень! Слыхали: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет»? В дорогу, пионеры, в дорогу!

Обернулся, весело заорал:

– Серега! И этот, капитан, как тебя! Давайте сюда, кряк, я плацдарм взял!

Рэму-то что. Он лежал в проходе, на третьей полке, в мирные времена считавшейся багажной. Еще в Москве ее занял, чтоб было хоть какое-то личное пространство. Почитать спокойно или просто в потолок посмотреть, подумать. Хорошо там было, наверху, только жарковато – поверху проходила отопительная труба.

Сейчас, видя, как Леха с Виталиком, собрав манатки, плетутся с обжитого места, Рэм еще раз порадовался своей предусмотрительности. Конечно, не жалко уступить полку боевому командиру, пролившему на фронте свою кровь, но это если сам предложишь, а быть согнанным унизительно.

На всякий случай Рэм в своей берлоге затаился, но вниз, конечно, поглядывал.

Там скоро стало тесно. На всех нижних полках, включая коридорную, расселись офицеры. Составилась компания. Дымили, звенели стаканами со спиртом, закусывали, гоготали.

Чаще всего звучал голос красавца-старлея. Он говорил чудновато, в каждую фразу вставлял странное словечко «кряк» и всякие от него производные. Например, когда у него поинтересовались, на кой ему шины, ответил:

– У меня, кряк, в дивизии велик трофейный – окряковенный красавец, ребята обещали сохранить. Одна беда – шин ни кряка не напасешься, а я, кряк, разжился.

Почти сразу после его спросили, почему он крякает.

– А я перед ранением, кряк, попал в такую кряканую кряковину, что думал, крякец. И дал себе слово: выберусь живой – никогда больше матерного слова не скажу. Ну, в смысле, до конца войны, а то потом чего бояться-то? – прибавил он, малость подумав. – Без мата говорить тяжело. Как жрать без соли. Решил, буду вставлять «кряк». Почему «кряк»? А фамилия моя Уткин. Я, кстати, Георгий, Жора.

И стал ручкаться с теми, с кем еще не успел.

Скоро Рэму надоело прислушиваться к трепу. Никакого осмысленного разговора внизу не происходило. Как кто спирт разбавляет, да чем его лучше закусывать – всякое такое.

Поэтому он отключился, стал думать про свое.

Капитан сказал интересную вещь. Что на войне либо себя жалеть, либо других, а середины не бывает. Пожалуй, альтернатива сформулирована некорректно. Даже неправильно.

Чтобы не свихнуться в свихнувшееся время, когда жизнь может в любой момент оборваться, нужно или вообще никого не жалеть, включая самое себя, или жалеть всех без исключения. Для предельной ясности в поступках. Иначе так и будешь метаться.

Инстинкт самосохранения подсказывает укрутить жалость до нуля. Поставить блок. Вот отец говорит, что врачу на операции ни в коем случае нельзя жалеть пациента. Иначе в самый ответственный момент дрогнет рука. Война – это

огромная хирургическая операция. Тут или плакать, или резать. Из тех, кто научился никого не жалеть, и получаются победители: герои войны и те, кто выжил, когда остальные погибли. Пожилой капитан – второго сорта, из выживающих.

Но у меня так не получится, сказал себе Рэм, глядя на бегущие по близкому потолку тени. Я от природы жалостлив, такой дефект личности. Значит, героем мне не стать. А попаду на передовую – навряд ли выживу.

От такой мысли ему сразу стало жалко всех, и в первую очередь себя.

Раз твой естественный инстинкт – жалость, себя не переборешь. Но тогда уж честно. Жалеть так жалеть. Всех.

Он решил попробовать. Перевернулся на живот, высунул голову. Чужих людей, кого не знаешь, жалеть легко, если они тебе ничего плохого не сделали. Это не считается.

А вот в соседнем отсеке, тоже на верхней полке, усевшись по-турецки, режутся в «дурака» Дупак с Охримовым. Оба враги.

Дупак – хамло и скотина. Однажды получил в ухо, за дело, и с тех пор смотрит волком. Пожалеть его, однако, нетрудно. У него полипы в носу, все время шмыгает, как маленький. Еще он детдомовский, сирота, пожизненно недокормленный, все время что-то грызет или жует. Опять же в ухо давать было необязательно. Главное, велика доблесть: боксер-разрядник справился с заморышем.

Вот пожалеть Охримова будет трудней. История конфликта тут длиннее и сложнее.

Сказав капитану, что среди курсантов не осталось фронтовиков, Рэм позабыл про Охримова. Просто тот никогда не рассказывает про войну, не любит. Но хлебнул огня с добавкой, это видно. В казарме каждую ночь скрипел зубами, иногда плакал. А днем тихий, слова не вытянешь.

Их тогда, на первом месяце учебы, очень ротный старшина мучил, злющий такой дагестанец, Хамзаев. Все его прямо ненавидели.

Однажды Охримов на переменке подошел. Говорит: «Ты, Клобуков, не такой, как другие. Зря не треплешься, хвост не распускаешь. Давай Хамзаева, суку, кончим». Рэм засмеялся. Давай, сказал, давно пора.

Охримов обрадовался. Говорит: «Он, гад, меня невзлюбил. Нарочно изводит. Ждет, что я сорвусь и харю ему искровяню. Меня тогда из училища в шею. Под трибунал и в штрафбат. А я хочу офицером стать. Железно. Но у меня, Клобуков, терпение кончается. Таких Хамзаевых надо давить, как клопов. Без них мир лучше. Ты не бойся, мы его технично сделаем, никто ничего. Только мне второй нужен, в одиночку аккуратно не получится». И стало понятно, что никакая это не шутка. Глаза у Охримова были светлые, спокойные, совершенно сумасшедшие.

Рэм, конечно, его послал, и с тех пор Охримов глядел сквозь него, как через стекло. Всякий раз казалось, что он по этому стеклу еще и ногтем скребет. Жуткий тип.

Но, поработав над собой, Рэм придумал, как пожалеть и Охримова. Вспомнил, что отец, приехав на побывку, однажды сказал: «Мы, медики, лечим в лазаретах раны тела, а главная рана вот здесь. – И постучал себя по голове. – У всех, кто там побывал. И эту рану никто не лечит. Потому что где взять столько психиатров?» Охримов – душевнобольной. Скорбный духом, как писали раньше. Разве не жалко?

А когда жалеть людей надоело, Рэм стал просто глядеть в окно. От Лодзи до конечной станции Оппельн, где штаб Второго Украинского фронта, оставалось всего двести километров, но поезд часто сбавлял ход и еле полз. Во время январского наступления пути сильно пострадали, во многих местах полотно было временное. Иностранную жизнь Рэм пока толком не разглядел, хотя после пересечения границы все жадно прилипли к окнам. Но Польша ничем не отличалась от Белоруссии. То есть, может, раньше и отличалась, однако война – декоратор с однообразным вкусом. Всюду, где она помахала своею кувалдой, пейзаж делался одинаков: черные пятна пожарищ на белом снегу, скелеты домов, обломки подбитой техники.

Здесь же, видно, немцы отступали быстро, и кое-где сохранились совсем целые деревни. Домов было толком не рассмотреть, но каждый костел Рэм провожал взглядом. Это была иная, нерусская, экзотическая жизнь. Все-таки уже Европа.

– Эй, малой!

Внизу стоял, улыбался крякающий старлей. На плече у него опять висели шины.

– Есть предложение. Багаж – на багажную полку, а то людям сидеть тесно. Давай так: барахло сложим на твое место, а ты дуй к нам. Чего тут осталось ехать-то?

Сказано было легко, необидно, и Рэм артачиться не стал. Спрыгнул, натянул сапоги. Фронтовики подвинулись, и он оказался между Георгием-Жорой Уткиным и каким-то артиллерийским капитаном, пялиться на которого Рэм постеснялся. Дальше сидел еще лейтенант, а напротив капитан-танкист, два старших лейтенанта и один младший, но не чета Рэму: с обожженным лицом, с гвардейским значком и медалью «За отвагу», с новыми офицерскими погонами, пришитыми на солдатскую шинель. Тут все были черт-те в чем. Танкист в овчинной безрукавке, один старлей в белом кашне, другой в ботинках и замшевых гетрах. Только Рэм сидел, как иллюстрация к уставу: аккуратная гимнастерочка, еще не обтрепавшиеся погончики. Прямо пожалел, что сдуру сфотографировался в таком виде, после выпуска – послать отцу и сестренке. Сразу видно: зелень тыловая. Решил про себя, что фото выкинет и при первой возможности снимется по-другому, по-фронтовому.

На Рэма соседи едва взглянули. Даже не спросили, как зовут. И очень хорошо, а то он от смущения заблеял бы по-овечьи и потом себя ненавидел бы.

Пристроив на багажной полке свои шины, Уткин сумрачно оглядел столик. Там фляги со стаканчиками, хлебные крошки, обглоданная селедка на газетке.

– Докладываю обстановку, товарищи командиры. Спиртяги до кряка, но закуси больше нет. Это нехорошо. Можем понести невозвратные потери. Есть у кого харч?

– Откуда? – вздохнул танкист. – Все приперлись на вокзальный продпункт, как к титьке, со своими аттестатами, а там, сам видел, объявление: «Подвоза не

было». Теперь только в Оппельне разживемся.

Рэм ожил. Кажется, теперь на него обратят вни мание!

– У меня есть. Нам в Варшаве выдали до пункта назначения. Сейчас достану.

Он извлек из вещмешка всю провизию: банку консервов, хлеб и сало, с небрежным видом положил на столик. Ужасно испугался, что покраснеет от удовольствия, когда артиллерист заметил:

– Щедро. По-фронтовому.

И все сразу стали с Рэмом знакомиться, будто он только сию минуту появился.

Уткин представился «Жорой», торжественно присовокупив: «трижды старший лейтенант Советского Союза». Его, конечно, спросили – как это, и он с удовольствием объяснил:

– Дважды разжалован. В сорок третьем и в сорок четвертом. Но я, кряк, чисто птица феникс. Не сгораю, а опять взлетаю. Однако только до третьей звезды. Выше, кряк, ни в какую. А то бы уже, наверно, минимум майор был.

Лейтенант сказал:

– Теперь не успеешь. Ну, за победу? Раскладывай скорей, земляя.

– Я уже. Это колбасный фарш, американский, очень вкусный, – сказал Рэм и мысленно обругал себя: не мельтеши, Петя Ростов. «У меня изюм чудесный».

Ему сунули алюминиевый стаканчик. Капитан, что слева, тихо посоветовал:

– Водой разбавь. Не лихачь. Привычки требует.

А Рэм набрался смелости, и громко:

– Спасибо. Я вообще не пью.

Взял и поставил стаканчик на стол. Ждал от кого-нибудь насмешки или презрительного взгляда, но ничего такого не было. Капитан, перед тем как выпить, пробормотал: «Отэтпрально». Остальные даже не посмотрели. Другой капитан затеял интересный всем разговор, какие соединения по итогам Нижне-Силезской операции сделают гвардейскими. Обожженный младлей, уже гвардеец, обстоятельно рассказывал про льготы и про повышенное дендовольствие. Ему, комвзвода, положено кроме обычных шестисот и трехсот фронтовых еще триста гвардейских. Плюс хромовые сапоги, гвардейского сукна шинель и диагоналевая гимнастерка, а что он сейчас во всем старом, так это не захотел после ранения в госпиталь брать, чтоб не сперли.

Слушали его очень внимательно, задавали вопросы. Потом старлей, что сидел у окна, сказал:

– Глядите. Германия.

Те, кого ранило в Силезии, на Германию посмотреть уже успели и не повернули головы, а Рэм так и прилип. Гвардеец, его звали Костей, тоже. Он западнее Лодзи еще не бывал.

– Танковый прорыв был, не иначе, – уверенно определил он. – Вон хутор целехонек. И те два тоже. Драпал фриц.

Рэм поразился размеру и добротности построек. Наверное, это были крестьянские хозяйства. По-иностранному «фермы». Дома каменные, как в городе. Каменные же амбары. Нарядные красные крыши.

– Людей не видно, – сказал Рэм через некоторое время. – Вообще никого. Окна выбиты...

– Свалил немец, от мала до велика. Правильно сделал. – Костя матерно выругался. – Ребята говорили, приказ был, перед германской границей зачитывали. Что Рабоче-Крестьянская Красная Армия вступает на фашистскую территорию и что настала пора отомстить за сожженные города и села, за женщин и детей. Берите, что хотите, товарищи бойцы. Всё ваше. А с ихними бабами поступайте, как они поступали с нашими.

– Правда был такой приказ? – засомневался Рэм.

– Ребята врать не станут, – сурово ответил Костя и потер свою страшную бугристую щеку.

А Рэм вспомнил статью Эренбурга, которую еще в училище горячо обсуждали на политинформации. Про то, что палачам не будет пощады и что немцев только огнем можно отучить от набегов на Россию. Чеканные формулировки статьи запомнились наизусть: «Нас привел к границе Германии человек, который знает, что такое слезы матери. Сталин знает, как немцы зарывали в землю живых детей, и в самые черные дни Сталин нам говорил, что мы победим злодеев... И если найдется в мире человек, который забудет о том, что сделали немцы, его проклянут могилы невинных. А мы знаем, что не забудет этого Сталин и не забудет Россия. Мы говорим это с тем спокойствием, которое бывает у старой, накаленной и неодолимой ненависти».

Но одно дело – статья про ненависть, а чтобы прямо в приказе? Да про баб? Однако спорить с гвардейцем Рэм не решился.

– Эй, резерв Верховного Командования! – дернул сзади за гимнастерку Уткин. – Во-первых, крик, хорош трясти своей кормой перед рожой старших по званию. А во-вторых, товарищи командиры интересуются, тебе часом не выдали в Варшаве курево? По разведанным, там отоваривали «Казбеком».

Рэм отвернулся от окна.

– По одной пачке только дали. Но у меня папирос не осталось. Есть табак пачечный. Достать?

– Валяй. Угостим народ. Твой табачок, моя бумажка. У меня хорошая есть.

Жора вынул какую-то книжку или, может быть, толстую тетрадку в замшевом переплете, выдрал оттуда четыре странички, каждую разорвал пополам, и получилось восемь прямоугольничков, по числу членов компании. Рэм положил на стол пачку «Рекорда», взял одну бумажку себе. Она была тонкая, полупрозрачная – настоящая папиросная, только не чистая, а очень плотно исписанная с обеих сторон. Почерк ровненький, аккуратненький – такой, наверно, и называют бисерным, потому что букочки будто нанизанные на нитку

бисеринки.

У Рэма была привычка читать всё подряд. Отец в детстве, бывало, ругался, что сын застревает у каждого стенда с газетами, у каждого столба с объявлениями.

Сейчас тоже, прежде чем насыпать табаку, Рэм поднес бумажку к глазам. Текст был русский.

«...когда же я оглядываюсь назад, на прожитые годы, особенно жалко мне моих ранних лет, потраченных впустую, на всяческую чепуху. Ах, если бы кто-нибудь, искренне озабоченный моим благом и умеющий помочь, сызмальства направил меня в верную сторону! О, я бы стал не тем, что я есть, а чем-то много лучшим. Я не продирался бы вслепую через колючки, через чащу, а шел бы прямой дорогой и продвинулся бы по ней много далее», – прочитал Рэм и перевернул клочок. С другой стороны было написано: «Меня мутит, когда слышу выражения вроде “самый обычный человек”, “он не хуже других”, “я такой же, как все”. Все люди необычны! Никого ни с кем сравнивать нельзя – кто лучше, а кто хуже! “Такой же, как все” означает никакой!»

Заинтересовавшись, он взял со стола нетронутую бумажку – артиллерист сказал, что не курит. Прочитал: «Через сто или двести лет людям будет казаться дикостью, что когда-то женская половина человечества считала главным делом своей жизни вырастить и воспитать детей – будто курица, высиживающая яйца, или волчица, учащая волчат охотиться. Как можно было тратить свою бесценную жизнь на то, что у тебя скорее всего хорошо не получится? И как можно было разрешать матерям, не обученным самому важному из знаний, педагогике, портить детей? Мы будем казаться нашим потомкам такими же варварами, какими нам сегодня кажутся люди средневека...»

– Жор, откуда тетрадка? – спросил Рэм.

Он отсел на край, поменявшись с лейтенантом, потому что Уткин затеял играть в очко на злотые. Тем, кто выписался из госпиталей, выдали командировочные местной валютой, и что с нею делать, никто не знал. А у Рэма денег не было, и карт он не любил.

У Жоры из угла в угол рта ходила самокрутка.

– А? Костька, банкуешь?

– Где, говорю, тетрадью разжился?

– Под Варшавой, перед тем как ранило. Траншею у фрицев взяли. Там штабной блиндаж... Еще! ...Выходит эсэсман с поднятыми руками... Еще одну! ...И по-русски: «Не стрэляйте, товарищ, я нэмецки антыфашыст». Умора, кряк! Черепушка на фуражке, молнии, все дела, вот такая ряха, стеклышки на носу. Антифашист ... Зараза, перебор!

Стукнул кулаком по столу, раскрякался.

– Сдавай!

– И чего? С эсэсманом?

– А чё с ним? Грохнул. Эсэсовцев в плен не берут. Мы тогда, по правде, никого не брали. Потери были, людей мало, а тут конвоируй в штаб... Себе!.. Тетрадка у него в сумке была. Понаписана всякая крякотень, зато бумага – как с папиросной фабрики. Ну, думаю, щас покурю. И тут меня осколком – кряк! Вот сюда. Короче, покурил только через полтора месяца, когда перевели в палату для выздоравливающих. Не до курева было. Ага, съел? – хищно расхохотался он, сдвигая к себе кучку купюр. – Я сдаю.

Похож на Долохова, подумал Рэм. Игрок, был разжалован в нижние чины, выслужился лихостью и тоже не берет пленных.

– Дай тетрадку почитать, – попросил он.

Уткин не глядя сунул:

– На и отвяжись. Мне карта поперла.

Открыв тетрадь, Рэм увидел, что в середине много страниц вырвано. Где-то по одной, где-то сразу несколько подряд – наверное, Жора тоже угощал бумагой целую компанию. Но начало было целое. Судя по тому, что проставлены даты – дневник или какие-то записи в хронологическом порядке.

Откинулся к стенке, стал читать.

«18. X.1940.

Дорогой Антон, Не знаю, почему я решил, что буду адресовать мои записки именно тебе, ведь мы не виделись больше двадцати лет, и я даже не знаю, жив ли ты. Очень надеюсь, что жив и что многочисленные невзгоды нашего железного века обошли тебя стороной.

Я вне себя от возбуждения. Это странно, а в нынешних обстоятельствах даже невообразимо, но мечта всей моей жизни близка к осуществлению! Я должен выплеснуть эмоции, собраться с мыслями, а поскольку собеседников у меня нет, сделать это я могу только на бумаге. Кроме того, мой великий план предполагает ведение подробного дневника. Легче обращаться не в пустоту, а к конкретному человеку, с которым мы когда-то мечтали о великом эксперименте вместе. Помнишь, с чего всё началось? Помнишь спор двух первокурсников об общественном и индивидуальном?»

Дойдя до этого места, Рэм взволновался. Антоном звали его отца. Тот при старом режиме тоже учился в университете, а когда пустится в рассуждения, говорит примерно в таком же стиле. Вдруг это пишет какой-нибудь его старый товарищ? Вот была бы штука!

- Жор, - сказал он, отрываясь. - Обменяй тетрадку на что-нибудь. Тут интересно, я почитал бы. Хочешь, у меня набор химкарандашей есть?

- Меняют жлобы и спекулянты, - ответил Уткин, сосредоточенно уставившись на три карты - решал, брать еще или нет. - ...Дай одну. - И заорал: - Ааа! Очко!

Сграбастал выигрыш, широко махнул:

- Дарю, малой. Не жалко.

Рэм снова уткнулся в тетрадь.

«А еще мне почему-то хочется писать на языке, которым я давно не пользуюсь в обыденной жизни. Я трехязычен с детства. На немецком со мной говорили родители. Он так и остался интимным, домашним, невзрослым. Потом появился польский – язык прислуги, двора, улицы. Я познакомился с ним не в лучшем его варианте, он до сих пор звучит для меня грубо, и моя непростая, полная разочарований жизнь в новой стране Польше не исправила этого ощущения. Поэтому дороже всего мне русский, язык гимназии и нашего Петроградского ист-фила, язык прекрасных книг, увлекательных дискуссий, лекций Вентцеля и Вахтерова. Я всегда любил учиться. С преподавателями мне было несравненно интереснее, чем со сверстниками».

Нет, это не отцовский знакомый, с разочарованием подумал Рэм. Отец учился сначала на юридическом, потом в медицинском.

Все же стал читать дальше. Не глазеть же, как другие в очко режутся?

«Я очень надеюсь, что за минувшие годы у тебя получилось опробовать твою теорию общественно-трудового воспитания на практике, хоть, ты знаешь, я считал ее в корне ошибочной. Конечно, эти двадцать лет мы с тобою существовали в несоприкасающихся мирах, разделенные глухой стеной, но до меня доходили сведения о том, что у вас в России ведутся необычные эксперименты с детскими коммунами. Мне нравилось думать, что ты, Антон, в этом участвуешь. Как интересно было бы узнать о результатах!»

Рэму пришла в голову новая догадка. А что если он пишет Антону Макаренко, автору «Педагогической поэмы»? Это было бы еще интересней!

«Доходили сюда и пугающие известия о многочисленных арестах среди русской интеллигенции, полагаю, сильно преувеличенные здешней антисоветской прессой. Впрочем, в отличие от тебя, я никогда не интересовался политикой и ничего в ней не смыслю. Не намерен я уделять ей место и в этих записях. Жалко тратить время, да и ради чего? Разве станет геолог, ищущий золото, писать в дневнике экспедиции о комарах, отравляющих ему жизнь? Бог с ними, с кровососами. Меня интересует золото.

И все же два слова о войне. Не случись с бедной Польшей того, что с ней случилось, я вряд ли имел бы возможность реализовать свою теорию. Год за годом я пытался получить необходимые разрешения и документы, добыть

финансовые средства – и всё впустую. Мои усилия разбивались о противодействие бюрократов, сопротивление попов, ретроградов от педагогики, косных родительских ассоциаций. А сейчас я никем и ничем не связан. Вот уж воистину не было счастья, так несчастье помогло!

Я ужасно горд тем, как я провернул эту операцию, сам себя изрядно удивив своей ловкостью. Ей-богу, мы часто не подозреваем, какие в нас заложены таланты!

Мне доставит удовольствие записать рассказ о моем внезапно пробудившемся авантюризме. Я чувствую, что это качество, которого я в себе прежде не подозревал, очень пригодится в новой жизни. А она начнется прямо с завтрашнего дня.

Вот как всё произошло...»

– Эй, профессор, вырви покурить, – попросил Жора.

– Оторви от газеты. Говорю, тут интересно.

– Я с конца, напоследок. Да не жидись ты!

Старлей дотянулся, выхватил из рук тетрадь. Вернул, когда выдрал страницу.

Рэм встал и ушел в тамбур. Там спокойнее.

Бисерным почерком

Всякой грандиозной идее предшествует какое-то случайное событие, некое озарение, дающее первый толчок мысли, которая, иногда сама того не сознавая, начинает работу в определенном направлении. Вспомни Архимеда в ванне или

Ньютона с яблоком. Нечто подобное позавчера случилось и со мной.

Я проходил через Налевки, мимо ворот новообразованного Гетто, и остановился, пораженный удивительной картиной.

Однако, раз уж мои записи имеют вид письма к другу, которого я давно не видел, напишу несколько слов о Гетто, тем более что устройство этого поразительного, анахронического, воскресшего из Средних Веков изобретения оккупационных властей будет иметь самое непосредственное отношение к Эксперименту. К тому же установления и параметры еврейского города внутри Города наверняка будут меняться, и невредно зафиксировать, каковы они на сегодняшний день.

Итак, сверхчеловеки, многое, начиная со свастики, позаимствовавшие от индийской цивилизации, управляют подвластным населением, деля его на касты. Для того чтобы низшие страты общества поменьше бунтовали, нужна некая каста париев, неприкасаемых, по сравнению с которой плебс будет чувствовать себя все же до некоторой степени привилегированным. В этом, полагаю, и заключается рациональная причина германского государственного антисемитизма.

В Польше с ее колоссальным еврейским населением эта придуманная для Германии механика обретает черты абсурда, поскольку «неприкасаемых» оказывается слишком уж много, но тупая, железная система не знает обратного хода. В результате Город, где евреи составляют чуть не треть населения, превращен в некую уродливую матрешку. Внутри него устроен второй город, еврейский, откуда выселили поляков и куда отовсюду свозят, сгоняют евреев. Территория в три квадратных километра обнесена проволокой, а кое-где даже возводят стену. Говорят, на этом искусственном острове в невероятной скученности будет жить чуть ли не четыреста тысяч человек. По радио объявили, что всякий еврей, обнаруженный вне Гетто без специального разрешения, будет арестован со всеми вытекающими последствиями, которые у сверхчеловеков всегда одинаковые.

Мне скучно про всё это писать. Я не хроникер человеческого идиотизма и не свидетель маниакальных злодейств. Уверен, что очень многие сейчас записывают все эти мерзости и глупости для будущего «суда истории», ведь евреи – «народ Книги». Я мерзостями и глупостями не возмущаюсь, я им не удивляюсь. На мерзостях и глупостях стоит вся история человечества. Пока не

устранена их главная причина, всё так и будет длиться до скончания времен. Наверное, я чудовище, но мне не жалко взрослых людей. Они все или почти все без надежно упущенные и пропащие. В лучшем случае бессмысленны и бесполезны, в худшем – вредны и опасны.

Иное дело – дети, особенно маленькие. Я не могу без боли и ужаса смотреть на то, что с ними творят взрослые. Берут под свою невежественную опеку беззащитное, доверчивое сокровище и мнут, портят, губят! Не успокоятся, пока не превратят нового человека в такую же дрянь, какую являются сами!

Стоп. Мне нужно держать себя в руках. Отныне я не тот, что прежде. Всё переменялось. Никаких жалоб, причитаний, никаких эмоций. Только цель, только дело. И никакой водки. Ни капли. С этим покончено. Расправляю крылья – и в полет!

Итак, про Налевки.

Как я уже написал, меня трудно удивить происходящим вокруг безумием, но тут я просто остолбенел.

Я увидел, как Сказочник проводит через ворота своих воспитанников из «Дома еврейских сирот». Должно быть, они получили предписание переместиться в Гетто.

Я не люблю Сказочника. Он хороший, добрый человек, но он занимается не своим делом. Впрочем, как подавляющее большинство живущих на этом свете. Раз ты Сказочник пиши сказки, у тебя получается, но не порти детей своим невежественным воспитанием!

Многие стояли и смотрели, как длинная колонна медленно втягивается в ворота. Кто-то вздыхал, кто-то вытирал слезы, кто-то не мог сдержать рыданий. «Какая трагедия!» – шептались вокруг. Громко никто не возмущался, потому что было много полиции.

Я же смотрел на то, как наслаждается всеобщим вниманием Сказочник, как картинно обнимает он робеющего ребенка, как запекает надтреснутым голосом веселую песенку, как подбирает и прижимает к груди обреченного плюшевого зайца, как подчеркнуто он не замечает толпы, – и злился: позер, позер!

Стыдно. Я несправедлив к нему. Причиной тому самая черная зависть. К его известности, к пиетету, который он во всех вызывает, а более всего – к огромным возможностям, которыми он так плохо пользуется. Ах, если б мне дали управлять сиротским домом, думал я, глядя на печальное шествие. О, я бы согласился жить в любом Гетто и не устраивал бы по этому поводу трагедий!

Но то была еще не сама идея, а лишь ее предчувствие.

Следующее звено цепочки, тоже случайное, замкнулось ночью, когда я не мог уснуть и всё думал про Сказочника, которому судьба дала то, о чем я могу только мечтать. Уж если, руководя сиротским домом в обычном мире, он был почти свободен в своей педагогической деятельности, то можно себе представить, как привольно заживет он в Гетто – без муниципальных комиссий, учительских ассоциаций и прочих контролирующих инстанций. Там, за колючей проволокой, можно быть свободным от внешнего мира. Вот где бы развернуться! Говорят, среди беженцев невероятное количество осиротевших и потерявшихся детей...

Но это были жалкие, бессмысленные мечты. Во-первых, на какие шиши я бы стал разворачиваться? Во-вторых, кто меня пустит в Гетто, если я не еврей?

От бессонницы мне, как обычно, понадобилось выпить. Я неплохо научился гасить встречным огнем алкоголя тот костер, который сжигает меня изнутри. Это пламя могло бы согреть и осветить мир, но, не имея выхода, оно лишь опалает мне сердце.

Дома водки не было, а выходить на улицу в комендантский час строжайше воспрещалось, но Город всегда жил двойной и тройной жизнью, приспособиваясь к любой власти. Запреты ему нипочем. Через два квартала от меня находится подпольный кабак. Я оделся и пять минут спустя уже стучал в глухую дверь установленным стуком.

На створке тускло засветилась точка. Меня рассматривали в глазок. Я снял шляпу и слегка поклонился. Узнали.

Электричества в подвале, конечно, не было. Полагалось самому зажигать на столике керосиновую лампу, но я остался в темноте, да еще забрался в самый дальний угол.

Налил из графина полстакана, сразу выпил и стал ждать, чтоб перестало жечь изнутри, но что-то никак не отпускало. Мне уже за сорок, а ничего не сделано, жевал я свою всегдашнюю горькую жвачку. Мир населен и перенаселен теми, кому за сорок и кто ничего не сделал, но они и не знают, что нужно делать, а я-то знаю, знаю, и оттого бессилие тысячекратно тяжелее.

Когда за соседний стол сели двое и начали тихо переговариваться, я даже обрадовался – их бубнеж отвлек меня от самоедства.

Это были персонажи из «подкоряжного мира», как, помнишь, называли во времена нашей студенческой юности разный мутный, нечистый, ночной люд. Словно перевернул корягу, и там, в сырой грязи, копошатся какие-то жучки, червяки, сколопендры. Вот и эти были такие же – спекулянты с черного рынка, торговцы «марафетом», а может быть, даже воры или грабители. На территории страха и беды, каковой теперь является Город, подобной публике раздолье.

Я сначала не прислушивался, но скоро по доносившимся до меня обрывкам фраз понял, что это контрабандисты, притом нового, очень популярного профиля – переправляющие по подпольным каналам живой груз. Многие евреи, кто имеет деньги или богатых родственников за границей, после апрельского приказа об учреждении Гетто пытаются перебраться в Палестину, пока всех не заперли за колючей проволокой. Когда есть спрос на услугу, появляется и предложение, так что возникла даже конкуренция между «туристическими фирмами» (остроумное название). Я слышал, что «ваучер» через Словакию и Румынию, а оттуда морем можно добыть за 100 американских долларов – сумма большая, но не астрономическая. Всё неплохо организовано. Гарантией того, что «гиды» не прикончат «туриста» по дороге, является оплата по результату. Ее производят заграничные родственники на месте прибытия.

Мои соседи обсуждали какого-то Данцигера, беженца из Германии. Щуплый мужичонка (звали его Лех) волновался, ерзал и много говорил свистящим шепотом. Второй, сидевший ко мне мощной квадратной спиной, ронял слова скупно. Первый называл его Шайло.

Минут через пять стало ясно, что контрабандой людей промышляет только Лех. К нему обратился потенциальный клиент, берлинский ювелир, предложивший хороший задаток: 50 долларов, а по прибытии в Яффу – вдвое.

– Открывает он свой чемодан, – свистел Лех, – а там (я подглядел) зеленым-зелено! Доллары пачками! Говорю ж тебе, Шайло, он ювелир, берлинский! Наверно, продал всё свое рыжье и все цацки!

– А у тебя самого кишка тонка? – хмыкнул второй.

– Ты же знаешь, я не по этой части.

– Ладно. Получишь за наводку как положено. Десять процентов.

Тут я догадался о профессии пана Шайло, и мне сделалось не по себе. Не дай бог обернется и углядит меня в моем темном углу. Но уходить было еще опаснее. Я съежился и теперь ловил каждое слово.

– Не за наводку, не за наводку! – закипятился контрабандист. – Я его прямо к тебе приведу. Доставлю, куда скажешь. За это отдашь мне треть.

– Десять процентов.

– Двадцать пять! Без меня ты дела не сделаешь. Только я знаю, где живет Данцигер.

– Десять процентов, – лениво повторил громила.

– Дай хоть двадцать – не то отведу его к Тадзику, – пригрозил вертлявый.

Тогда Шайло вроде бы не быстрым, но каким-то очень точным движением схватил собеседника здоровенной лапищей за лицо и сжал. Лех сдавленно замычал, умолк. В другой руке у бандита блеснуло что-то тонкое. Шило!

– Я тебе сейчас цапку к столу пришпилю и буду поворачивать. Пока не скажешь адрес, – тихо прогудел Шайло. – Можешь орать – никто ко мне не сунется. Где найти этого Данцигера, ты все равно скажешь, только ни шиша не заработаешь,

кроме дырки в руке. Ну?

Лех пропищал что-то жалобно-утвердительное.

– Ладно, десять процентов, – просипел он, когда Шайло его отпустил. – Только слово дай. Воровское. Что не обманешь.

Второй молча чиркнул себя большим пальцем по горлу. Это, вероятно, и было «воровским словом».

– Ну, где он?

Но контрабандист колебался.

– ...Ага, я скажу и стану тебе не нужен.

Шайло двинул его кулачищем в ухо – кажется, в четверть силы, но у Леха чуть голова с плеч не оторвалась.

– Я воровское слово дал.

И Лех всё тем же пронзительным шепотом назвал адрес в Мокотове. Коричневая кожаная дверь на первом этаже справа, вроде как заколоченная двумя досками, но это маскировка. Нужно постучать два раза медленно и потом три быстро.

Я к этому времени совсем сполз под стол, думая только об одном – остаться бы живу. Но когда они ушли, успокоился и даже ободрился, чему, безусловно, поспособствовало содержимое графина. Надо предупредить беднягу, сказал я себе. Завтра же, с раннего утра, как только закончится комендантский час.

Поставил будильник. Проснулся в рассветном сумраке под отвратительный дребезг. Ныли виски, вставать ужасно не хотелось. Сделай хоть одно доброе дело в жизни, чертов спаситель человечества, обругал я себя.

Дойдя до места, я спрятался за деревом и стал смотреть на окна. Мне пришло в голову, что бандит тоже мог с утра пораньше отправиться за добычей. Что если он уже там?

Но через какое-то время на одном окне раздвинулись шторы и появилось лицо, при виде которого я вздрогнул. Оно было книзу тяжелое, густобровое, с набрякшими веками – очень похожее на мое собственное, когда я полчаса назад смотрел на себя в зеркало. Если надеть очки и пририсовать бородку – вылитый я.

Тут, в этот самый момент, меня будто пробило электрическим током. Нет, скорее это было похоже на то, что прямо в темя мне вонзился светозарный луч, и мир наполнился чудесным сиянием.

То был не итог логических размышлений. То было озарение. Свет и сила наполнили все мое существо. Я больше ничего не боялся, не колебался, не прикидывал, не взвешивал.

Я знал, что? я должен сделать. План составил сам собой, идеальный в своей безупречности. Какие-то детали я додумывал уже на ходу.

Нужно было сначала зайти домой. Я больше не опасался, что Шайло меня опередит. Он не идиот совершать убийство среди бела дня, наверняка дождеться темноты, а значит, времени более чем достаточно.

Поразительно, как меняется человек, когда судьба и случай вдруг выводят его из болота и зарослей на прямую, ясную дорогу. Я знал, что теперь с нее не сойду.

Домой я вернулся за двумя вещами. Во-первых, за пистолетом, которым обзавелся еще во время осады – не для геройства, а для защиты от шпаны и мародеров. Слава богу, я не сдал свой «браунинг» оккупационным властям. Во-вторых, за набором документов. Несколько месяцев назад я зарегистрировался в комендатуре как «фольксдойче II категории». Всего у полоумных сверхчеловеков аж четыре категории фольксдойче. Моя – для немцев, не проявлявших до войны приверженности Рейху, но сохранивших свою германскость и не осквернивших брак с неарийцами. Я долго колебался, вляпываться ли в эту гадость, было противно, но практические соображения возобладали. Какое это было верное решение!

Я уверенно постучал в заколоченную дверь условленным манером: тук, тук, тук-тук-тук. Когда – очень нескоро – на той стороне тихонько скрипнула половица, спокойно сказал: «Я от Леха. Открывайте, пан Данцигер».

Потом, когда створка открылась, шагнул в полутемный коридор и сразу перешел на немецкий.

– Лех сдал вас бандитам, – сказал я. – Вместо Палестины вы попадете на тот свет. Где ваш чемодан с долларами?

Поразительно как упрощает общение пистолет в руке. Можно не здороваться, а сразу, без предварительных объяснений, переходить к делу.

Данцигер крикнул:

– Не отдам! Стреляй, чертов грабитель!

– Я не грабитель. Я предлагаю вам взаимовыгодную сделку: деньги в обмен на жизнь и безопасность. Пистолет для того, чтобы вы меня внимательно выслушали. Где у вас тут зеркало?

Моя уверенность и невесть откуда взявшийся нахрап были удивительны мне самому. Я будто бы действительно сделался совсем другим человеком. Так, наверное, превращается в распрямившуюся пружину легавая собака, взявшая след.

Ничего не понимая, ювелир допятился до входа в комнату. Там, в глубине, холодно поблескивала зеркальная дверца платяного шкафа. Я крепко взял берлинца за локоть и подтащил ближе.

Мы стояли рядом.

– Смотрите, как мы похожи.

– Не особенно, – пробормотал он, глядя на мое отражение со страхом. Должно быть, считал меня психом.

– А если так?

Я нахлобучил ему на нос свои очки.

– Теперь гляньте сюда. – Показал свою «кеннкарту», раскрытую на фотографии. – Если скажете, что сбрили бороду, никто не усомнится, что документ ваш. Ну, или можете отрастить такую же.

– Что это? Зачем? – пролепетал Данцигер.

– У вас удостоверение желтого цвета, с буквой J?

Он испуганно кивнул.

– И без повязки с шестиконечной звездой на улице не появишься, так? Теперь, когда ваша Палестина провалилась, вам один путь – в Гетто. Оттуда уже не выберетесь. А я дам вам полный набор документов стопроцентного арийца. И отправляйтесь себе совершенно легально, скажем, в Румынию, а оттуда – куда пожелаете. Все ваши деньги я не заберу, оставлю достаточно.

Данцигер тяжело дышал, но ужас в глазах пропал.

– Позвольте?

Взял удостоверение, продовольственный аттестат, справку с места жительства, поизучал.

– Вы с ума сошли. Какой из меня «фон», какой «барон»?

– Чем богат. Документы подлинные. Повторяю: это жизнь, безопасность. И свобода. Но сначала покажите, сколько у вас денег.

– Вы меня застрелите, – жалобно сказал он и мелко-мелко замигал. Наблюдать страх почти так же неприятно, как его испытывать. Я принялся успокаивать Данцигера.

- Посмотрите на меня. Разве я похож на убийцу?

- Сейчас все убивают, даже кто не похож.

- Ну и черт с вами. Я мог бы устроить обыск и забрать чемодан силой, но я не грабитель. Прощайте. Не советую только здесь задерживаться. Следующие визитеры будут менее деликатны.

Я спрятал документы в карман и сделал вид, что ухожу.

В коридоре он меня окликнул:

- Пойдите!

Исчез в комнате, чем-то там погромыхал и вынес коричневый обтрепанный чемодан – не очень большой, но и не маленький. Поставил на пол, трясущимися пальцами открыл крышку.

Внутри, под газетой, которую Данцигер аккуратно отложил в сторону, лежали пачки бело-зеленых купюр. Они были разложены по номиналу.

Я тоже присел на корточки.

- Эти оставляю вам. Эти тоже.

Отдал ему две пачки стодолларовых Франклинов и четыре пачки пятидесятидолларовых Грантов. Такие крупные банкноты разменивать на черном рынке небезопасно – человеческая жизнь сейчас стоит дешевле. В чемодане остались десятки и двадцатки. Много.

- Так будет честно? Давайте ваши документы и берите мои.

Он молчал. В глазах, устремленных на чемодан, который я уже закрыл и поставил рядом с собой, стояли слезы.

Я, конечно, понимал, что это слезы жадности, и все же мне было этого человека жалко. Зная себя, я предвидел, что могу дать слабину – именно тогда, когда главное будет исполнено и напряжение спадет. Но я предусмотрел это заранее.

Сделав вид, что хочу закрыть замочки получше, я положил пистолет на зонтичную подставку, да еще и полуотвернулся.

И, конечно же, Данцигер клюнул. Он схватил «браунинг», навел на меня и сделал несколько шагов назад.

– Отдай чемодан, дерьмо!

В поросячьих глазках (у меня всё же не такие) светилось торжество. Как же – и деньги сохранил, и документы раздобыл.

– Только не убивайте, – пролепетал я, подталкивая его мысль в правильном направлении. – Я ухожу...

– Черта с два ты уйдешь.

Ювелир быстро оглянулся на дверь, потом на окна, прикидывая, будут ли слышны выстрелы. Отпускать меня ему было нельзя. Что если я на улице остановлю патруль и скажу, что еврей отобрал у меня, немца, документы?

Было интересно смотреть, как обстоятельства и страх превращают травоядное существо в хищника. За миг до того, как палец нажал на спуск, лицо Данцигера дернулось, будто от спазма или зубной боли. Вот и вся рефлексия.

После одного, второго, третьего щелчка физиономия мерзавца вся заколыхалась от паники.

Я вырвал из вялых пальцев пистолет. Вставил обойму. Взвел затвор. Ни жалости, ни вины я теперь не ощущал.

Он не молил о пощаде и не ждал ее, потому что полминуты назад сам собирался меня убить.

– Полусотенные вернешь обратно, скотина. Это штраф, – сказал я, подумав, что «гранты», пожалуй, мне все-таки пригодятся. Четыре пачки – это наверно тысяча двадцать?

Ювелир и не пикнул. Стал совать назад и мои документы, но я не взял. Зачем они мне, еврею Данцигеру?

На пороге я обернулся, чтобы последний раз посмотреть на человека, который отныне будет жить с моим именем, и подумал: как странно, что оно может умереть раньше меня или, наоборот, жить-поживать, когда меня уже не будет.

Бывший герр Данцигер тоже на меня пялился, с недоумением. Не мог понять, почему я не выстрелил. Люди подобного сорта не в состоянии представить, что кто-то устроен иначе, чем они. Видно невооруженным взглядом: индотип «Г-IIAb». Для них характерен тотальный дефицит воображения.

Бог с ним. Желая, чтобы мое имя принесло ему больше удачи, чем мне за сорок четыре года жизни. Я же отныне пан Аксель Данцигер, чистокровный еврей с кучей денег. Гетто распахнет передо мной свои ворота, которые всех так страшат, а мне кажутся вратами Эдема.

Счастливый случай и – не буду скромничать – моя чудесная предприимчивость совершили невозможное. Кажется, я осуществлю-таки свой заветный план, да в таких условиях, о которых и не мечтал!

Жизнь, зачем ты мне дана?

Последний раз в жизни Таня чему-то удивлялась 20 января. Не то чтобы специально велела себе запомнить, какого числа. Просто это был ее день рождения.

Проснулась она поздно, около полудня, после ночного дежурства. Не разлепив глаз, подумала: теперь мне восемнадцать. Надежды силы молодые, и грезы светлые живые, и чистой юности рассвет. Ха-ха. Такое ощущение, что семьдесят. С днем рождения тебя, старуха. Всё ты уже видела, от всего тебя тошнит, ничто не радует, ничто и никогда больше не удивит.

Потянулась, глянула в окно – и удивилась. Трудно было не удивиться. По ту сторону стекла, на подоконнике, неподвижно сидела здоровенная птица, совершенно сказочного вида, прямо царевна-лебедь, только ярко-розового цвета, с невообразимо длинной шеей и гигантским загнутым клювом. Таня решила, что еще не проснулась, ущипнула себе запястье, но видение не пропало.

Нет, она не спала.

Медленно, не дыша, не веря своим глазам, боясь спугнуть, Таня откинула одеяло, на цыпочках, по ледяному полу, приблизилась.

Не лебедь. Прекрасный розовый фламинго. Живьем она их никогда не видывала, только на картинке. И как тут было не удивиться? В зимнем Бреслау, на фоне падающих снежинок, диковинной птице взяться было абсолютно неоткуда.

Таня рванула на себя смерзшиеся оконные створки, и фламинго свалился ей на руки, будто огромный, тяжелый букет роз.

Птица была мертвая, заледеневшая.

Всё, ошалело подумала Таня. После такого фокуса удивлялку отшибет уже навсегда.

Потом, конечно, загадка объяснилась. На работе рассказали, и в «Шлезисхе тагесцайтунг» была заметка.

Оказывается, накануне, после приказа об эвакуации и подготовке к осаде, в городском зоопарке расстреливали животных. Говорят, медведи шли под автоматы сами – думали, что их, как обычно, будут кормить. Умные лисицы прятались. Лев жутко рычал. Слон долго качался и всё не падал. На

галапагосскую черепаху пришлось потратить два магазина. Но в конце концов перебили всех. Спаслись только экзотические птицы. Идиот-полицейский поленился стрелять по такому количеству мишеней, швырнул связку гранат, лопнули стеклянные стены авиария, и попугаи, туканы, японские журавли, калифорнийские пеликаны, розовые фламинго разлетелись во все стороны разноцветными сполохами. Потом их видели по всему городу. Некоторые, кто повыносливее, даже дожили до весны.

Кстати говоря, в тот же самый день Таня еще и последний раз плакала. Перед тем за два с половиной года – и каких года – ни слезинки не проронила, что бы ни происходило. Людей ей давно уже не было жалко. Никого. Сами во всем виноваты. Но тут представила, как в зоопарке убивали этих меховых, панцирных, четвероногих, парно- и непарнокопытных, когтистых и мягколапых, ни в чем не виноватых, ничего не понимающих, – и разревелась.

Дура, конечно.

А сегодня, например, шла она всегдашней дорогой на службу, жмурилась от мартовского солнышка. Повернула за угол, на Седанштрассе, а никакой Седанштрассе нет. Вообще. Дымящиеся кучи щебня. И что же? Не вскрикнула, не ахнула, не схватилась за сердце, а просто сказала «horpla!». Надо же, расфигачили квартал.

Ночью, как обычно, грохотало в разных местах города, и один раз здорово шарахнуло, Таня даже проснулась. Подумала: «Близко где-то», да и повернулась на другой бок. А оно вон что. Эскадрилья русских «швейных машинок» уронила на Седанштрассе груз фугасных бомб.

Была славная улочка, добротные бюргерские дома, подъезды с одинаковыми чугунными козыречками, чудеснейшие молодые липы на тротуарах – и ничего нету. Одни дымящиеся груды, под ногами хрустит стеклянная крошка. На них копошатся люди, облепили кусок коричневой стены, будто муравьи хлебную корку, тянут. Кто-то истошно орет: «Хайди! Хайди!» Тетка захлебывается истерическими рыданиями, вырывается, ее держат за плечи.

«А вы как думали? – мысленно ухмыльнулась Таня, протискиваясь через молчаливую толпу. – Чужих детей не жалели, теперь о своих повайте».

Прикусила губы, чтобы не расползлись в злорадной улыбке.

Женщина с перекошенной физиономией, с часто моргающими глазами, жалобно попросила:

- Помолитесь за нас, сестра.

Таня ведь шла на службу, была в обычном своем наряде: белый чепец, белый воротник, темное платье, крест на груди.

Ответила:

- Я не монашка, я диакониса. Нам не положено.

А про себя прибавила: «Фюреру своему помолись, курица».

Миновала разбомбленный участок и снова оказалась на обычной целехонькой улице почти мирного вида. «Почти» – потому что большинство окон закрыты перинами и одеялами, а на стенах каждого дома белой краской выведены огромные буквы FB, Festung Breslau[1 - Крепость Бреслау (нем.)]. На перекрестке баррикада с оставленным посередине проездом. Для завала использованы надгробья – близко кладбище. Каменный ангел, лежа на боку, печально смотрел на Таню, показывал перстами на табличку, там было написано: «И прости нам грехи наши». Не дождетесь.

В это время суток, между ночной бомбежкой и дневным артобстрелом, на улицах всегда людно. Ужас сколько народу скопилось в осажденном городе. Мало кого тогда, в январе, успели эвакуировать. Говорят, одних беженцев с востока четверть миллиона, и еще из пригородов сколько.

Снуют, как мыши, с ненавистью думала Таня. Торопятся по своим мышиным делишкам, пока кот не вернулся.

Про солдат, которых везли мимо в открытом грузовике, подумала: крысы в ящике.

Машина остановилась рядом – регулировщик пропускал колонну с улицы Штурмовых Отрядов. Свесился парнишка в сером кепи. Молоденький, румяный.

– На передовую едем, сестренка. Перевяжешь, если ранят?

Это он увидел у нее на рукаве белый лоскут с красным крестом.

– Крыса тебе сестренка, – буркнула Таня, зная, что он из-за шума мотора не услышит.

– А? – Перегнулся ниже. – Пожелай мне удачи.

Грузовик уже трогался с места, поэтому Таня повысила голос:

– Чтоб тебе осколком яйца оторвало!

И засмеялась – такое у него сделалось выражение лица.

Дом престарелых находился в Хёфхене, на Гинденбург-плац. Старое, приземистое здание, принадлежавшее «Бетаниену», благотворительному евангелическому обществу, где тетя Беате состояла «фице-оберин», помощницей главной диаконисы. Подчиненные называли тетю «фрау фице».

Основную часть подопечных еще в начале осады вернули родственникам. Оставили только одиноких или совсем беспомощных – было приказано освободить места для раненых. И скоро они стали поступать со всего города. Сюда привозили стариков, кто не выжил бы в обычных госпиталях, где у персонала нет навыков ухода за возрастными пациентами.

К старичью из богадельни у Тани ненависти не было, хотя они, конечно, тоже не без вины. Поди, голосовали за своего Гитлера. И воспитали ублюдков-сыновей, которые убивают и гадят по всей Европе. Но все-таки за контингентом Таня ухаживала без отвращения. Когда начались бомбежки в светлое время суток, уговорила тетю сшить из старых простыней огромное полотнище, намалевать на нем красный крест и растянуть на крыше. Все говорили, что русских варваров это не остановит. Но около дома престарелых за полтора месяца не упала ни

одна бомба. Сами вы варвары.

Сегодня здесь происходило что-то непонятное. У входа несколько фургонов. На крыльце торчит какой-то «черный», со свастикой на рукаве. Рядом с ним тетя, что-то говорит, размахивает руками, в углу рта всегдашняя сигарета. Вообще-то евангелическим диаконисам курить не полагалось, но у тети специальное разрешение герра форштеера. Она не могла без табака. Курение было единственным ее грехом, за который тантхен каждый день вымаливала прощение у Господа.

Подойдя ближе, Таня услышала, как эсэсовец терпеливо говорит, кажется, не в первый раз:

– Это приказ самого гауляйтера. Всех, у кого есть хоть какие-то родственники, – по домам. Для транспортировки выделены повозки. Поторапливайтесь.

– Распорядилась уже, не подгоняйте! – сердито отвечала ему тетя. – Это старые, нездоровые люди! Они быстро не могут.

Диакониса (из беженок, новенькая, Матильда, что ли) вела под руки хромую старуху из пятнадцатой. Стали выводить и других.

Заметив племянницу, фице-оберин сказала:

– Выспалась? Подключайся, уйма работы. Видишь, дом закрывают. Линия фронта приблизилась. Здесь всё заминируют. А нас переводят на Штригауэр-плац. Будем работать обычными медсестрами.

Таня при черном уроде ни слова не проронила, только сверкнула глазами. Помогла вынести на носилках несколько пациентов, потом снова встала около тети – дожждаться, когда провалит эсэсовец.

– Всё, – сказала тантхен «черному». – Остались только одинокие. Что делать с ними?

– Не беспокойтесь, – ответил тот. – Всё предусмотрено. У меня инструкция.

Повернулся, махнул рукой. Солдат, тоже «черный», вылез из легковой машины – почему-то с термосом. Вдвоем они скрылись в доме.

Тогда Таня заявила:

– На Штригауэр-плац не поеду.

Там шестиярусный подземный госпиталь, на тысячу коек. В основном военный. Возвращать в строй доблестных защитников «крепости Бреслау»? Шиш!

– Тогда попадешь в трудовой взвод. Лопата, кирка – и вперед. Будешь копать окопы, строить баррикады, – отрезала тетя. – Ты приказ гауляйтера Ханке об обязательной трудовой повинности читала? За уклонение – расстрел. У кого не будет рабочей карты с ежедневными отметками – то же самое. Выбирай.

Она с Таней почти всегда разговаривала сухо, даже грубо. Не по злобе, а от чувства вины. Потому что настоящая христианка должна всех любить одинаково, а любить или жалеть своих родных больше, чем чужих, – грех. Но относиться к племяннице как к другим тетя не могла. Таня иногда ловила на себе ее сострадательный взгляд, и в этот момент обе сердито отворачивались.

Иногда тетя пускалась в утешения. Идиотские. Бог-де самые трудные испытания насылает на тех, кого больше всех любит. «Значит, Богу можно любить людей неодинаково? Только христианам нельзя? – едко отвечала на это Таня. – А можно, чтобы Он уже оставил меня в покое со своей любовью? Чего-то мне ее многовато досталось». «Умничаешь», – вздыхала тетя. Она в ум не верила, только в Бога.

Беате приходилась отцу сводной сестрой. Она была наполовину немка, всю свою стародевическую жизнь прожила в Бреслау. Во всем этом поганом городе – нет, во всем этом поганом мире – Таня только ее и любила. Хотя тетя, конечно, была коза и дура.

– Ладно. Я буду ухаживать за военными. Только предупреждаю: уровень смертности в моей палате повысится.

– Бога ты не боишься! – ахнула тетя.

– Бога нет. А если есть, то Он сволочь.

Испуганно перекрестившись, фице-оберин прошептала:

– Господи, умири эту озлобленную душу... Хорошо. Я устрою тебя в отделение для гражданских.

Тут к ней подошла сестра Урсула, стала спрашивать, садиться ли уже по машинам. А Таня пошла прощаться с одним человеком, который оставался. Потому что не мог подняться с кровати и никого у него не было.

Если тетю Беате она любила, но никаких вразумительных разговоров с нею вести не могла, то со стариком фон Беннигсенom иногда получалось поболтать об интересном. Он был не такой, как все они. И не только потому что настоящий граф. Что с ним теперь будет? Куда его? И прочих, кто остается?

Проходя мимо первой же палаты для неходячих, Таня получила ответ на этот вопрос. Здесь не забрали двоих, контуженого деда из Цимпеля и инсультного герра Люстига. Оба лежали, разинув рты, пялились в потолок. У герра Люстига с дряблой губы свисала нитка слюны. Перед каждым – стакан недопитого чая. Тут-то Таня и сообразила, какая у эсэсовцев инструкция и что у них в термосе.

Вскрикнула, побежала. Еле-еле успела.

Двое «черных» были уже у графа, он занимал шестую палату – маленькую, но зато отдельную. Месяц назад его привезли. Вынули из-под обломков особняка. Графиня и двое слуг погибли, а Беннигсен выжил. Только ноги отнялись. У него в палате были уцелевшие после взрыва вещи: полка с книгами, старинная лампа, две картины на стенах, бюст Гёте. Будто кусочек девятнадцатого века.

– Не пейте! – крикнула Таня из коридора, увидев, что старику уже налили чаю. – Там яд!

«Черные» обернулись. Главный скорчил страшную рожу, но Таня на него не смотрела.

Беннигсен был такой же, как всегда: чисто выбритый, расчесанный, с аккуратной щеточкой седых усов. Сидел в кресле-каталке, обложенный подушками, из рукавов бархатной куртки ровно на сантиметр высывались белоснежные манжеты.

– Фройляйн Хильдегард, как я рад вас видеть! – сказал он с улыбкой. И офицеру: – Не беспокойтесь, молодой человек. Я выпью ваш чай. Идите. Мне хотелось бы поговорить с барышней.

Тот щелкнул каблуками.

– При всем уважении, господин граф, у меня приказ – проследить лично. Я подожду здесь.

Тут тишайший дедушка как рявкнет:

– Катись отсюда к свиньям, dummes Archloch!

Никогда Таня от него не слышала подобных выражений и такого зычного, генеральского баса.

«Черные» пулей вылетели в коридор, а господин Беннигсен обычным своим голосом сказал:

– Извините, но с каждой особью следует разговаривать на понятном ей языке.

Он был особенный, граф фон Беннигсен. Потому она с ним и подружилась – если, конечно, это можно назвать дружбой.

– Не пейте эту дрянь. – Таня отобрала стакан, поставила на тумбочку. – Мало ли, что у вас никого нет. Я поговорю с тетей. Будете жить у нас.

Он улыбнулся ей своей самой сердечной улыбкой, хотя нормальному человеку она все равно показалась бы деревянной. Аристократ.

– Милая Хильдегард, помните наш самый первый разговор, про карету?

Это было три недели назад. Его только перевели сюда из посттравматической, и Таня пришла мерить температуру. Безразлично поздоровалась, сунула градусник. Старик и старик, только богатый и чопорный. Она уже знала, что он доплачивает санитарке, чтобы она его брила-обихаживала. Еще подумала: ишь ты, свежий какой, и не догадаешься, что восемьдесят восемь лет. Поди, всю жизнь сладко ел, мягко спал.

Старикан на медсестру не обратил внимания, будто ее и не было. С брезгливой миной смотрел в окно. Там в сквере происходили учения фольксштурма. Пожилые дядьки, отклячивая зады, ползали по грязному снегу.

- Комедия в четырех действиях, явление последнее, - пробормотал старик. И прибавил непонятное: - Karetamnekareta.

- Как, простите? - переспросила Таня. Вдруг это он к ней обратился?

Не поворачиваясь, граф ответил:

- Была такая русская комедия, старинная. «Горе от ума». Про одного шибко умного умника, который все носился со своим великим умом и в конце концов разрушил себе жизнь. В финале он требует, чтобы ему подали экипаж - уехать к чертовой матери и ничего этого больше не видеть. По-русски: «Kareta мне kareta».

- «Карету мне, карету!» - автоматически поправила Таня, не веря собственным ушам.

Он живо повернулся. Глаза бледно-голубые, выцветшие, но взгляд острый.

Воскликнул:

- Правильно! «Карету мне, карету!» Мои предки когда-то жили в России. В детстве я неплохо знал русский, но потом подзабыл. Но... откуда вы, сестра, знаете Грибоедова?

- Знаю, и всё, - буркнула она, очень на себя разозлившись. Никто в госпитале (кроме тети, конечно) понятия не имел о ее происхождении.

И, чтобы отвлечь его, перешла в наступление:

– При чем тут горе от ума? Кто это у вас шибко умный умник?

Он пожал плечами:

– Европейская цивилизация. Германия. Наконец, я сам. Всё это горе, – неопределенно повел рукой, – от нашего ума. В прошлом веке все гордились человеческим разумом. И я гордился. Все верили, что для ума нет преград. Мы скоро откроем все законы науки и общества, построим земной рай. И я в это верил. Что, конечно, на свете есть мерзавцы, но их можно переиграть. Есть алчные хапуги, но они понимают свою выгоду, а значит, с ними можно договориться. Ведь когда все люди счастливы и довольны, это же всем выгодно? Да, большинство жителей Земли – дураки, но кто считается с дураками? Эх, видели бы вы меня тридцать или сорок лет назад, милая барышня. Я знал про жизнь, про мир и про людей абсолютно всё. Вы прямо заслушались бы моими блестящими речами в Рейхстаге.

Граф скривил сухие губы в горькой усмешке.

– Вы были депутатом Рейхстага?

– Я много чем был. Пока в четырнадцатом году торжество разума не обгадилось. Оказалось, что миром правит нечто иное – то, чего я не понимаю и не принимаю.

Таня послушала бы еще, но обход палат только начался. Она взяла градусник, записать температуру, и старик сказал:

– Вы заняты. А у меня неудержимый приступ болтливости. Должно быть, следствие контузии. Вы хорошо слушаете. Ступайте, но приходите еще.

И она, конечно, стала приходить, часто. Обитатель палаты номер шесть (ха!) казался ей единственным нормальным во всем огромном дурдоме под названием Третий Рейх.

В 1914 году, когда вся Германия и вся Европа ликовали по поводу начинающейся чумы, господин фон Беннигсен в отвращении сложил свои депутатские

полномочия и переехал в нейтральную Голландию. Там он и прожил больше четверти века, наблюдая происходящее вокруг – всемирную бойню, гражданские войны, экономический крах, триумф национал-социалистов – даже не с ужасом, а с отвращением и безнадежностью. Потом Гитлер захватил Голландию, и графу пришлось уехать. Потому что быть немцем в стране, оккупированной немцами, невыносимо – даже если лично ты ни в чем не виноват. Лучше уж вернуться, все равно спрятаться в Европе стало некуда. Да и сколько нам осталось, решили они с женой. У графини в Бреслау был доставшийся по наследству дом с садом. Там они и обитали, почти никогда не выходя за ограду – два старика, прожившие вместе больше шестидесяти лет. «Очень счастливо, как и в романах не бывает, – говорил Беннигсен. – Нам настолько хватало друг друга, что даже дети не понадобились. И слава богу. Что бы с ними сейчас было?» А в феврале на дом упала бомба...

Рассказывая девчонке-диаконисе про свою жизнь, граф разговаривал сам с собой, Таня отлично это понимала и всегда помалкивала. Слушать нормального человека было для нее отдыхом.

– Я приведу санитаров, и вас вынесут отсюда, – сказала Таня. – А этим сейчас скажу, что у вас есть родственники, готовые вас принять.

Граф мягко взял ее за руку, удержал.

– Погодите, я хочу поделиться с вами своим открытием. Понимаете, я все время спрашивал себя: «Зачем ты не погиб вместе с Луизой? Это было бы так естественно, так нестрашно, так красиво! Но ты остался. Один, беспомощный, никчемный. Ты всегда во всем ищешь смысл, умник. Найди его и здесь». И сегодня я наконец понял. Это кара. Потому что я тоже виноват. Нет, не тоже. Я виноват больше остальных. Больше Гитлера. Что взять с бешеной собаки? А я умный, ответственный, родился с золотой ложкой во рту, все пути мне были открыты, судьба сдала мне самые лучшие свои карты. И что же? Я позволил мерзавцам, хапугам и дуракам победить себя. Отобрать у меня Германию, Европу, цивилизацию, мир! И каждый раз, после каждого поражения, я только восклицал: «Karetu мне, karetu!» Красиво заворачивался в плащ и укатывал в какое-нибудь комфортное место. Пока небо не свалилось мне на голову и не убило всё, что я любил... Нет, всё честно. Всё справедливо. Так мне и надо. Так нам, немцам, и надо... Вот она, моя карета. – Беннигсен похлопал по ручке инвалидного кресла. – На ней я и уеду. Давно пора.

Таня цапнула с тумбочки отравленный чай – на всякий случай.

– Успеете на тот свет. Может, поживете подольше – еще что-нибудь важное поймете.

– Вы милая, – улыбнулся граф. – Дайте попить.

– Не дам!

Он поморщился:

– Господь с вами! Я не собираюсь травиться этим эсэсовским пойлом. Вон там, у изголовья кровати, мой травяной настой. – И показал движением костлявого подбородка – пальцем тыкают только плебеи.

Зеленоватый напиток он выпил медленно, с наслаждением, до последней капли.

– Как хорошо... Благодарю вас, милая девочка.

– Никакая я не милая, – хмыкнула Таня. – Тетя говорит, что я злее цепного пса.

Опуская морщинистые веки, граф пробормотал:

– Вы даже не представляете себе, до чего вы милая. Вы так скрасили последний месяц моей бесконечно длинной жизни. Какое счастье выпадет тому, кого вы полюбите...

Он клевал носом, голова опускалась все ниже. Со старыми стариками такое бывает – враз обессилят и засыпают.

– Э, вы не спите! – Таня потрясла его за плечо. – Знаете что, я лучше докачу вас до лестницы и покричу оттуда санитарам. Не доверяю я эсэсманам. Вольют в вас яд насильно.

– А я уже выпил... – пролепетал граф. – Только не их гадость, а собственное зелье... Оно у меня давно приготовлено... – Язык у него заплетался. – Karetu мне,

kare...tu.

И обмяк.

Таня шмыгнула носом, но не заплакала. О чем тут было плакать? Старик поступил правильно. Ему так лучше.

Ей, правда, стало хуже. Мир, и без того маленький, сжался еще плотней. Но ведь месяц назад в нем не было никакого графа, так что ситуация всего лишь восстановилась.

И вообще, давно уже усвоено: ни к кому нельзя привязываться, это привязывает. Согласился бы старик переехать к ним с тетей – и что? Связал бы по рукам и ногам.

Она погладила мертвеца по седым волосам и вышла.

Долго провозились с погрузкой медицинского оборудования, постельного белья и всякой хозяйственной требухи. Не успели. В четыре, как по часам, заныло небо, земля отозвалась ревом. Сирен не было. Их заводили, только если русские появлялись в неурочное время.

– Поехали, Бог милостив, – решила фице-оберин, глядя из-под руки вверх. – Хочется уже закончить. Последняя ездка. Мы с сестрой Ледер сядем в первую машину, а вы с сестрой Таубе во вторую. Отстанете – ничего страшного. Увидимся на Штригауэр-плац.

Под грохот разрывов, стрекотню зениток, вой пикирующих самолетов погнажи по улице Штурмовиков в сторону центра. Бомб Таня совсем не боялась. Она знала: свои ей плохого не сделают. Просто смотрела, как подпрыгивает на выбоинах передняя трехтонка. Она ехала метрах в ста.

Вдруг «геншель» исчез. Вместо него на дороге вырос черно-серый конус дыма, и больше Таня ничего не разглядела – ее швырнуло на ветровое стекло. Приложилась лбом, ударила плечами. Это шофер со всей силы ударил по тормозам.

Звуков сначала слышно не было, вообще никаких. Заложило уши. Потом Таня распрямилась, помотала головой, похлопала глазами. Впереди всё заволкло дымом. Сквозь него прорывались языки пламени.

Прямое попадание...

На асфальт совершенно бесшумно упал оторванный кусок автомобильного крыла – и сразу после этого вернулся слух.

Слева бешено ругался шофер. Справа икала сестра Таубе.

– Господи И-ик-исусе... Господи И-ик-исусе...

Таня пихнула ее локтем.

– Заткнись, а?

Дура разревелась. Пришлось как следует потрясти ее за плечи.

– Что нам делать, сестра Фукс? – Овечьи глаза с расширенными зрачками были совершенно бессмысленны. – Ехать или возвращаться? Хильда, что делать?

Теперь никто, ни одна душа на всем свете не знает, что я никакая не Хильдегард Фукс, – вот о чем подумалось Тане. И еще: теперь в этом городе живых людей вообще не осталось. Жалеть тут теперь некого. И осторожничать незачем.

Глаза у Тани были сухие.

Той же ночью она взялась за дело. Шла, задрав голову, любовалась иллюминацией. Волшебные шпаги прожекторов протыкали черноту, жемчужными ожерельями рассыпались сверкающие точки зенитного огня, там и сям земля озарялась вспышками разрывов. Красота!

Любоваться любовалась, но и смотреть по сторонам не забывала. Ночного пропуска у нее не было, а чем ближе к Либихским высотам, тем чаще патрули.

Попадешься – посадят в кутузку до утра.

Вон она, башня Либихтурм, торчит над темными верхушками голых деревьев. Там, в парке, в подземных казематах, штаб коменданта крепости генерала Нихофа. Две недели как переехал. А русские не знают, по-прежнему каждую ночь громят Гарбицштрассе, где паучье логово находилось раньше. Сюда же ни одна бомба не залетает. Сверху посмотришь – обыкновенный парк, черный квадрат.

Таня собиралась эту идиллию нарушить. Несколько дней про это размышляла и уже придумала как. Но при тете сделать это было трудно. Да и жалко ее, если попадешься. Не пощадили бы, даром что божья овечка.

Теперь – другое дело. Никем кроме самой себя Таня не рисковала.

Она знала: тут надо опасаться не патрулей, а скрытых дозоров. Парк только с виду пустой, но там всюду по периметру часовые. Где – поди знай.

Ломать над этим голову Таня не стала. Сейчас сами вылезут.

У нее с собой был мятый жестяной рупор – пару дней назад подобрала в развалинах специально для этой цели.

Не скрываясь, прямо по тротуару пошла вдоль ограды, стала вопить в трубу:  
«Ади! Ади!»

Минуты не прошло – вынырнули откуда-то двое в касках, с автоматами. Светят в лицо.

– Стой!

– Собаку я ищу, – сердито сказала им Таня. – Не видали? Помесь сеттера и болонки. – Да как заорет: – Ади, грязная свинья, где ты?! Адольф, зараза, чтоб ты сдох!

Последнюю фразу она прокричала с особенным удовольствием. Наверно, под землей, у герра генерал-лейтенанта было слышно.

Ей велели заткнуться и не шуметь, даже пропуск не спросили. Во-первых, это были не патрульные, а часовые. Во-вторых, что с нее такой возьмешь – черный крестик на груди, красный крест на рукаве?

На приказ катиться отсюда подобру-поздорову Таня маленько поогрызалась, но уйти ушла.

Уловка отлично сработала. Теперь ясно, где с этой стороны дозор. Можно спрятаться вон там, за углом, и они ни черта не увидят.

Пристроилась она буквально в ста метрах от ограды. Как было задумано, просунула фонарик в рупор, чтобы свет было видно только с неба. И как только приблизился шум моторов, стала мигать: раз-два-три, раз-два-три. Сюда лупите! Тут никакой не парк, тут самый главный штаб!

Сверху этот электрический тик должно быть отлично видно. И опять нисколько Таня не боялась, что русская бомба свалится прямо на голову. Даже если угрожают вместе с фашистским штабом, не жалко.

Какой же восторг, какое счастье после стольких лет бессилия сделать хоть что-то полезное, навредить гадам!

Пушкин спрашивает:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Может быть, как раз для этого. Чтоб вредить гадам.

Всех жалко

В Оппельне выгрузились. Рэм стоял со своими, разглядывал вокзал.

Хотя город в конце января был взят с боя, здание уцелело. Пузатое, гробообразное, с пирамидальной крышей и краснокирпичными башенками, оно казалось Рэму олицетворением Германии. Такою он ее себе и представлял. Чужой, массивной, мрачной.

На перрон прыгнул Уткин. Закинул на плечо вещмешок, пристроил поудобнее свои шины.

– Вы чего тут кучкуетесь?

Рэм объяснил: Петька Кличук, у кого список направленных на Второй Украинский, пошел к начальнику станции выяснять, куда им теперь.

– А, ну давай пять. – Жорка сунул руку. – Счастливо тебе, Ким, повоевать.

– Я Рэм.

– Извиняй, перепутал. Короче, как у нас говорят: чтоб тебе бабы давали и кряк не оторвали. Фрица дождем и домой. Ты откуда сам-то? – рассеянно спросил старлей уже на ходу.

– Из Москвы.

Остановился, обернулся.

– Иди ты! – И заинтересованно: – А откуда? Я тоже московский.

– Из Хамовников. С Пуговишникова переулка.

Жорка присвистнул.

– Кря твою мать! Соседи! Я с Усачевки! Электросветские бараки знаешь?

– Серьезно? – обрадовался и Рэм. – Конечно знаю! Это от нас доплюнуть.

В бараках завода «Электросвет», по ту сторону Мандельштамовского парка, жили так называемые «заводские», шпана шпаной: брюки в сапоги, кепарики на глаза. Туда лучше было не заходить – наваляют. Но сейчас, на войне, встретить человека с Усачевки – это было настоящее чудо.

Не мог поверить и Уткин.

– Эх, крик, вот о чем надо было тереть, пока ехали! Слушай, Рэмка, чего тебе тут на платформе вялиться? Сейчас вас, зеленку, погонят в кадровое управление, там в два счета распихают по частям. И ту-ту, пишите письма. Айда со мной. У тебя командировочное на руках?

Рэм кивнул.

– Ну и всё. Ты офицер, сам себе начальник. Отметим знакомство, погугарим про Москву, а завтра явишься за назначением.

– Даже не знаю...

Рэм заколебался. Ребята вообще-то тоже собирались не сразу в штаб, а сначала где-нибудь «погулять», проститься. Но с Уткиным, конечно, будет интереснее.

– Чего «не знаю»? Даешь рейд по тылам! Эй, парни! Сделайте Рэмке ручкой. Я его забираю! – гаркнул Жорка.

Было немножко обидно, что товарищи, с которыми восемь месяцев хлебал гороховый суп и орал «Катюшу», попрощались как-то между делом, даже не обнял никто. Хотя в принципе понятно: все возбуждены, все на нерве.

Ну и ладно. По правде сказать, Рэм в училище близкими друзьями не обзавелся. Были неплохие ребята, но нормально поговорить было не с кем.

Уткин поставил его под фонарем.

– Жди тут. За вещами приглядывай, особенно за шинами.

– А ты куда?

– Языка буду брать.

– Какого языка?

– Кто знает, где тут наливают. – Огляделся. – Нужен объект, чтоб, первое, без вещей, то есть местный. Второе – чтоб фронтовик, а не тыловой кряк, к ним доверия нету. А третье – кто в теме. Тут психология нужна. Без нее нашему брату разведчику хана.

Жора вертел головой, приглядываясь к вокзальной публике, сплошь состоявшей из военных, ни одного гражданского.

– Вон идет, без вещмешка, с орденами, – показал Рэм.

– Не, – махнул Уткин, едва глянув. – Тыловой. Ордена по блату получил. Фронтовики с пузечком не бывают.

– А майор? С усами который?

– Рожа протокольная. Замполит или особист. Он тебе так нальет – обьикаешься. Ага! Вот кадр правильный. Стой тут, земля.

Жора быстро подошел к саперному лейтенанту в драной ушанке и прожженном ватнике. Что-то сказал. Тот остановился. Закурили и долго, минут десять, разговаривали, время от времени заливаясь смехом. Потом Уткин хлопнул сапера по плечу и пошел. Тот крикнул вслед: «Два раза, запомнил? С первого не откроют!»

– Нормально всё, – сказал Уткин. – Разведка доложила точно. Есть хорошее местечко. Немчура из города вся сдрызнула, но поляки остались. А где поляки, там и «коварная» – так по-ихнему кафе называется, и пьют там не кофе. Адресок есть. Самое главное – хозяин не только рубли, но и злотые берет. У меня их крякова туча. Нарубил в очко.

– А в кафе нам разве можно? – удивился Рэм. – Частный сектор же. И вообще – какие кафе рядом с штабом фронта?

– У нас в школе в актовом зале картина висела. Философская. «Всюду жизнь» называлась.

– Знаю. И чего?

– А того. Запомни, щегол: где есть живые люди, там обязательно где-нибудь наливают. Особенно у поляков. Адрес: Бисмаркштрассе 10. Это, стало быть, от вокзальной площади прямо, третий поворот направо, потом налево, и за разбомбленной аптекой во двор. Там ход в подвал. Стучать три раза. Никто не отзовется. Досчитать до двадцати и еще раз. Тогда откроют. Запомнил?

На всякий случай Рэм повторил.

Сдали шины в комендантскую камеру хранения, пошли.

Город был немаленький, солидный. С прямыми улицами, большими красивыми домами, с деревьями на тротуарах. Но сразу за сохранившимся вокзалом начались развалины. Груды щебня, обгорелые стены, вывороченная танковыми гусеницами брусчатка. Потом совсем целый кусок – прямо кино из заграничной жизни. Витрины повыбиты, но вывески целы. Рэм шевелил губами, с трудом разбирая готический шрифт. А Уткин обращал внимание на другое.

– Это из танкового орудия крякнули, – говорил он. – Прямо в окошко второго этажа. Ювелирно... А тут «зис-3», семидесятишестимиллиметровочка поработала. Пулеметное гнездо в подвале было, не иначе.

Но беседе про Москву эти наблюдения не мешали. Разговаривать про родной район обоим было приятно.

– Кряк твою, первый раз за всю войну кого-то из Хамовников повстречал! – всё поражался Жора. – Главное, не спроси я, откуда ты, так и разошлись бы.

– Да, вероятность крошечная. – Рэм сразу стал высчитывать: – Население Москвы – два процента населения СССР. Наш Фрунзенский район – это где-то

пять процентов москвичей. Хамовники – одна пятая фрунзенцев... Две сотых процента. Один шанс из пяти тысяч.

– Математик, – оскалился Жора. – Сороковая школа, чистюли. Эх, гоняли мы вас, заманденышей!

– А мы ваших называли «замандюками», – засмеялся Рэм и подумал: попадись он перед войной этому вот Жорке – огреб бы по шее просто за то, что живет не с той стороны от парка Мандельштама. Тем более Рэм тогда был сопляк и хлюпик, ходил в тюбетейке и сандалиях, под мышкой всегда книга. Как такому, да не навешать?

– Гляди чего тут было: «Kreisleitung der NDSAP», – прочитал он большую вывеску, валявшуюся среди развалин. – Райком фашистской партии! И свастика.

– Ты чего, и немецкий знаешь? – Уткин шутливо погрозил кулаком. – Все-таки надо тебе, заманденыш, крякало начистить.

Рэм встал в стойку:

– Попробуй. У меня разряд по боксу.

Жора поднял руки: сдаюсь.

– Так вот же она, Бисмаркштрассе! – показал Рэм на табличку. – Это номер шесть, развалины – аптека, а следующий уже наш.

За болтовней и не заметили, как дошли.

Всё так и было. После первого стука ничего не произошло, но после второго лязгнул засов, высунулась мятая, небритая физиономия, Уткин нетерпеливо буркнул «давай-давай!», и дверь открылась.

Рэм, конечно, не ждал от подпольного заведения ничего особенного, но все-таки рассчитывал на нечто европейское. Кафе же. А увидел просто темный, сырой подвал с ящиками вместо столиков и разномастными табуретками. По углам

горели керосиновые лампы. По сравнению с этим шалманом пивнушка «Централ» во Владимире, куда Рэм ходил с ребятами за компанию, была прямо коктейль-холл.

Сидели тут только военные. В этом городе Рэм штатских пока вообще не видел, только небритого дядьку, который открыл дверь, а потом, не спрашивая, вынес графин, тарелку с солеными огурцами, полкруга колбасы и хлеб. Ничего другого тут, видно, не подавали.

– Культурно, – сказал Жора, осматриваясь. – Ножи-вилки, встояка никто не пьет. И главное, второй выход имеется. Вишь, за стойкой дверь, сквозняком оттуда тянет. В случае чего есть куда отступить. – Понюхал мутную жидкость. – И первачок нормальный. Разливай, чего ты?

– Я же не пью.

– Я тоже мало. – Уткин налил себе четверть стакана. – У меня доза: три раза по полста, и стоп. Больше нельзя. Дурить начинаю. И тогда хана. Если психанул – крик знает чего натворить могу. Я говорил, что два раза звездочки терял? Это по пьяни. Короче, уговор. Если я потянулся за четвертой, скажи: «Лычково-Винница». В Лычково я затрибуналил в сорок третьем, а в сорок четвертом в Виннице. Давай. Ну каплю-то выпей. За победу.

Старлей жадно опрокинул стакан, захрустел огурцом. Рэм тоже выпил, хотя Уткин налил ему не каплю, а почти столько же, сколько себе. Первач оказался не такой уж противный. Обжег горло, но это было, пожалуй, даже приятно.

Алкоголя Рэм не пил принципиально. В восьмом классе пришел домой пьяный, напившись с одноклассниками портвейна, и постыдно блевал в уборной. Отец дал ему понюхать нашатыря и взял честное слово никогда больше не разрушать кору головного мозга воздействием этилового спирта. К честному слову Рэм всегда относился серьезно. Дал – держи. А сейчас вдруг подумал: если война – хирургическая операция, то как же без анестезии. Отец сам анестезиолог, ему ли не знать. Ну и вообще, не выпить с фронтовым товарищем – интеллигентское пижонство.

Поэтому, когда Жора снова налил, уже поровну, даже не спорил. Тем более второй тост был такой, что невозможно не выпить.

– За то, чтоб, когда к своим вернусь, все ребята были живы. До дна! Миха – это мой зам – их наверно разболтал. Они у меня и так бандюки криканные. Дивизионная разведка. – Уткин засмеялся, жуя колбасу. – Очень обожают к фрицам в тыл ходить. Пустые не возвращаются, всегда с трофеями. Часы, консервы, шнапс таранят. Один раз приперли не поймешь чего, из штабной землянки. Стручки такие здоровенные, в толстой шкуре. Замполит сказал, бананы. В Африке растут. Главное, бананы они приперли, а языка, крик их мать, не довели. Ты бананы ел когда?

– Только на картинке видал.

– Крикня. Вроде картошки мягкой. Давай теперь за Хамовники. Чтоб нам с тобой туда вернуться.

И за это тоже нельзя было не выпить.

– Третья, – предупредил Рэм.

Всё вокруг начинало слегка подплывать. Он засмотрелся, как под низким потолком грациозно покачивается сизый табачный дым.

– Опля, – сказал вдруг Жора. – Фуражку надел. Быстро!

И сам цапнул с ящика свою кубанку. Смотрел он в сторону двери.

Обернувшись, Рэм увидел, что она распахнута. В проеме – силуэт командира, затянутого в портупей, и, кажется, с повязкой на рукаве. Сзади двое в ушанках, с автоматами.

– Оставаться на местах! – зычно крикнул вошедший. – Спокойно, товарищи. У кого документы в порядке, отдыхайте дальше.

– Комед... комендантские, – прошептал Уткин. Язык у него слегка заплетался. – А мы с тобой не отметились, не загре... зарегистрировались. Валить надо. Но сначала, чтоб добро не пропадало... – Он приложился к графину, подергал кадыком. – Теперь слушай мою команду. По-пластунски. За мной!

Они сползли с табуретов на каменный пол, благо темно. Работая локтями и коленками, двинулись к стойке, за которой ушлый разведчик давеча углядел второй выход.

- На губе пускай фраера сидят, а нас не возьмешь, мы из Кронштадта, - довольно сказал старлей за дверью, помогая Рэму подняться. - Держись Уткина, заманденыш. С ним не пропадешь.

Коридорчиком они вышли к пропахшей мочой лестнице, поднялись по ступенькам, толкнули тяжелую дверь.

- И свобода нас примет радостно у входа! - продекламировал топавший сзади Рэм. Ему было хорошо, весело.

Он шагнул из мрака в ярко освещенный двор - и наткнулся на застывшего Жору.

- Документы, - раздался строгий голос.

Еще один офицер, капитан. Рядом двое солдат с ППШ наперевес. Все трое с красными повязками.

- Красиво работаете, комендатура, - зло сказал Уткин. - В клещи берете? А может, мы с корешем отлить вышли? На это тоже документ нужен?

- Предъяви, потом отливай. - Капитан протянул руку. - Ну!

- Баранки гну! Подождешь, пока разведка нужду справит. - Жора потянулся к ширинке, будто собрался расстегнуть пуговицы. - Рыло отвороти, комендатура. Или интересуешься на мой крик поглядеть?

Зачем он так, в панике подумал Рэм. Все равно ведь попались, а он еще хуже делает!

Лицо капитана налилось бешеной краской.

- Да вы, старший лейтенант, лыка не вяжете. Позорите звание офицера! Снять ремень, сдать оружие, руки за спину! Живо!

И положил руку на кобуру.

– Крысюга... – Жоре было трудно говорить, он рванул воротник. – У меня оружие – немца бить... а не по тылам форсить... Гнида мордатая...

Он схватил комендантского за отвороты шинели, рванул на себя, тряхнул. Со старлея слетела кубанка, с захрипевшего капитана фуражка.

Один солдат ткнул Уткина дулом автомата под ребра, второй замахнулся прикладом – двинуть по стриженому затылку. Рэм не задумываясь, рефлекторно, провел два хука, справа и слева. Без замахов, времени на которые сейчас не было. Тренер учил: главное – скорость и точность удара, сила – дело десятое. Левый патрульный, отоваренный в подбородок, крутанулся вокруг собственной оси и выронил автомат. Правый получил прямую плюху в нос и, должно быть, ослеп от боли – глаза закатились кверху. Уткин же хрустко вмазал капитану лбом в переносицу и отшвырнул бесчувственное тело.

– Полундра! – крикнул он. – Драпаем!

Подхватив упавший вещмешок, Рэм со всех ног дунул за приятелем из двора. Нападение на караул – это стопроцентный трибунал.

– Врешь, не возьмешь Чапаева! – радостно орал на бегу разведчик. Вернулся за кубанкой, пнул ногой солдата, нагнувшегося за автоматом. Кинулся догонять.

– Кряк вам в грызло, а не Жорку Уткина!

Они вылетели в переулок, почти сразу нырнули в гулкую подворотню, протопали через пару дворов и остановились только за поворотом.

– Это ты виноват... – Уткин тяжело дышал.

– Я?!

– Тебя просили, как человека. Больше трех не давать. Сказал бы «Лычково-Винница», и порядок. Видишь, психанул я... Да ты и сам нажрался. «Не пью».

Если Рэм и был пьян, то от встряски и ужаса совершенно протрезвел.

– Что нам теперь будет? – тоскливо спросил он. – На кой ты орал, что ты Жора Уткин?

Старлей беспечно махнул рукой.

– Крякня. Капитан постыдится начальству докладывать. Втроем не смогли двоих взять. Его за такое на передовую отправят. Скажи лучше, ты где так махаться научился?

– Я же говорил. У меня первый разряд по боксу.

От уткинской уверенности Рэму стало поспокойнее.

– Для лопухов комендантских годится, но в настоящей рукопашке на бокс шибко не надейся. Вот давай, бей меня.

Он положил на землю мешок. Встал, слегка согнув колени. Руки держал свободно, у бедер, ладонями вперед.

– Лупи со всей науки. Не бойсь.

– Ладно, – улыбнулся Рэм.

И грамотно, технично кинул левый прямой, рассчитав остановить кулак в сантиметре от Жоркиной челюсти.

Но противник нырнул ему под руку, всей массой тела сшиб наземь, и миг спустя Рэм засипел, схваченный стальной пятерней за горло.

– Вот так. Ты боксер, а я горлодер. – Сверху в упор смотрели Жоркины налитые кровью глаза. – Горло раздираю на раз. Я тебя научу. Давай, подымайся.

Встал сам, дернул на себя Рэма.

– Кроме шуток. На кой кряк тебе в кадры идти? Раз ты парень боевой, айда со мной. Разведчиком будешь. Не сразу конечно. У тебя немецкий, а нам по штатному переводчик положен. Созрешь – буду брать в поиск. Языка лучше на месте потрошить, пока горяченький. А то, может, он не знает ничего. Очень ты нам годишься.

– У меня же предписание. В распоряжение управления кадров Второго Украинского, – засомневался Рэм, хотя, конечно, ужасно захотелось в дивизионную разведку. Одно название чего стоит!

– А у нас что? 359-я Краснознаменная дивизия 74-го стрелкового корпуса 6-й армии Второго Украинского фронта. Короче так. Пойдем вдвоем. Я буду договариваться, а ты стой рядом. Ты пойми, дура. Одно дело ты прибываешь кряк знает куда, где всем на тебя положить. И совсем другое – со мной, к своим. Большая разница.

Тот капитан в поезде говорил то же самое, вспомнил Рэм. Интересно, какой по системе выживания балл у дивизионной разведки? Вряд ли меньше, чем у пехотного комвзвода. Да и вообще, что за подлость – баллы высчитывать.

– Ну чего, лады?

– Лады.

– Вот теперь, Рэмка, мы с тобой закорешимся по-настоящему.

Уткин крепко обнял его, а по спине хлопнул так, что внутри екнуло.

– А на память о сегодняшнем сражении держи мою фотку.

Жорка порылся в мешке, вынул снимок.

– Это старая, августовская. Я тут еще старшина и без «Красного знамени», но другой нету. Дай карандаш, надпишу.

И накалякал на обороте «Боксеру от горлодера». А Рэм свой снимок, где он во всем новеньком, дарить не стал, постеснялся.

– Вот чего, – сказал Уткин, подумав. – Схожу-ка я в штаб один. Похожу, погляжу. Может, какое начальство встречу, кто меня знает. Так оно легче выйдет. Фамилия твоя какая? Каблуков?

– Клобуков.

– Напиши вот здесь, на бумажке. Название училища, номер командировочного. И подожди меня где-нибудь. Я, может, долго буду.

– Да мне все равно нужно тут одного человека найти, посылку передать.

Старлей кивнул, глядя уже не на Рэма, а на перекресток, где скучала девушка-регулировщица.

– Эй, лапуля! Штаб фронта где тут у вас?

– Военная тайна! – игриво отозвалась та. Красавец в лихой кубанке ей, видно, понравился. – Ты, может, шпион.

– Готов предъявить свой документ и всё прочее! Согласен на личный досмотр! – заорал Жорка, перебегая к ней.

Скоро он уже хохмил о чем-то, девушка прыскала.

Как ловко у него всё выходит, завидовал Рэм. Наверно, любую в два счета уговорит.

– Сам штаб переехал куда-то к Бреслау, но вся тыловуха пока тут, – сообщил Уткин, вернувшись. – Кадровое в ратуше. Говорит, здоровенная такая башня, отовсюду почти видно.

Ратушную площадь они нашли быстро. Улицы вокруг были перекрыты временными шлагбаумами, повсюду стояли грузовые и легковые машины, а столько старших офицеров в одном месте Рэм никогда не видывал. Задержался направо-налево честь отдавать. Тут мозговой центр целого фронта, а это, наверно, миллион солдат. Шутка ли!

– Давай так, – предложил Жорка. – Через два часа, в восемнадцать ноль-ноль, встречаемся на вокзале – где тогда стояли. Если я не пришел, значит, встретил кого-нибудь из корешей. Или установил перспективный контакт с кем-то из женсостава вооруженных сил СССР. Окрепший после ранения организм требует ласки. Тогда извини-не-обижайся. Но завтра в 10 утра буду на месте, железно. Ты переночуй где-нибудь, лады?

– Устроюсь, не переживай. Может, у отцовского знакомого, кому посылка.

В штабе у дежурного Рэм спросил, в точности как велела Ева Аркадьевна, где найти подразделение 51232.

Офицер в окошке (целый майор!) сначала потребовал документы. Внимательно изучил удостоверение, сличил фотокарточку с личностью, потом так же строго спросил:

– К кому?

– К подполковнику Бляхину.

Полистав какую-то книгу, дежурный сказал:

– Есть такой. Ждите, проводят.

– Да я сам, товарищ майор. Только объясните куда.

– Ждите, – повторил офицер. – Туда без сопровождения не положено.

Заинтригованный, Рэм сел на стул подле стены. Про Бляхина он знал, что это сослуживец отца еще по Гражданской войне. Видел его только раз, лет десять назад, но хорошо запомнил. Дядя Филипп (так он тогда назвался) заходил к ним на Пуговишников, рассказывал интересное про Первую Конную. У отца ведь не допросишься – разве только медицинское что-нибудь. И потом папа несколько раз поминал Бляхина, добрым словом. Тот сильно в чем-то помог, чуть не спас, но в чем именно – не поймешь. Отец мягкий-мягкий, но, если не хочет сказать, клещами не вытянешь. Наверно, на войне что-нибудь было, не шибко приятное.

С отцом Рэм последний раз виделся в Москве, неделю назад. Весь выпуск по окончании училища на грузовиках перевезли из Владимира в столицу, на вокзал, дожидаться эшелона. Москвичей до вечера отпустили по домам. Но на Пуговишников Рэм не попал. Удачно совпало, что отец тоже как раз привез раненых. Он был главврач санитарного поезда.

Они и встретились в поезде, потому что отец распределял раненых по госпиталям. Во время разговора все время отлучался, и Рэм сидел с сестренкой, ждал. Она всегда состояла при папе, по особому разрешению начальства. Оставлять ее в Москве было не с кем, да и на кого такую оставишь?

Адя не видела брата с прошлого июня. Рэм думал – забыла, не узнает. Она ведь даже соседей не узнавала, кого видела каждый день, а тут целых девять месяцев, для нее целая вечность. Отец писал, что она никогда про старшего брата не спрашивает – это чтобы Рэм не расстроился, если при встрече она будет дичиться.

Но Адька сразу подошла и повела себя так, словно они пять минут как расстались. Стала показывать свои рисунки. Потом села и прижалась головой к плечу. Никогда в жизни так не делала. Рэм чуть не прослезился.

Адя ведь не такая, как другие дети. Что у нее за диагноз, никто толком определить не может, хотя отец показывал ее всем психиатрическим светилам Советского Союза.

Ей двенадцатый год, а выглядит как семилетняя. Чужих людей – это для нее все, кроме папы и брата – не распознает и, кажется, даже не очень отличает от неодушевленных предметов. Говорить умеет, но произнесет, может, одну фразу в неделю, и не всегда ясно, к чему. Слушает с таким видом, что не разберешь, понимает или нет. Однако любит, если ей что-нибудь рассказывают. Все равно про что. Поэтому, когда отец первый раз вышел, Рэм ей про Первый Украинский фронт объяснил. Во второй раз – про космические полеты к звездам. Показал, как стратонавт будет парить около ракеты в безвоздушном пространстве. Нормально поговорили.

А вот с папой побеседовали так себе.

Они были и похожи, и непохожи, отец и сын Клобуковы. В последний год перед войной все время ссорились. Виноват, конечно, был Рэм. Переходный возраст. Отец вдруг стал его сильно раздражать. Что такой нескладный, рассеянный, не замечающий пятен на рубашке и крошек в углу рта. Не интересующийся тем, что интересно, зато много говорящий о том, что нормальному человеку пофигу. Ну и вообще – какой-то опустившийся и распустившийся.

Сам-то Рэм любил аккуратность, подтянутость, четкость, порядок. Он и бокс уважал, потому что такое сумбурное дело, как мордобой, здесь происходило по твердым правилам.

Привычка к самодисциплине здорово ему пригодилась, когда началась война и отец стал бывать дома редко, наездами с фронта.

Раздражение осталось в прошлом, вместе с другой чепухой довоенного времени, но тесные отношения, как в детстве, уже не восстановились. Папа приезжал замотанный, измученный, почти все время таскался по учреждениям, доставал для эшелона медикаменты, инструменты, чуть ли не простыни с наволочками. А Рэму нравилось изображать взрослую сдержанность – еще и для того, чтобы не нагружать отца своими проблемами. «Как ты, сынок, тут один?» «Нормально». Про то, что поступил в военное училище, он отцу написал только из Владимира. В общем, давно уже вел себя как взрослый.

Потому так и обиделся, когда отец вдруг заговорил словно с ребенком. Начал с извинений, что за все время ни разу не смог навестить. У них в Прибалтике не прекращались тяжелые бои, было ужасно много раненых.

– А поговорить с тобой очень хотел, и тема, знаешь, не для переписки...

Только он это сказал, прибежала медсестра.

– Антон Маркович, что делать с Арамяном? Мучается ужасно, а морфин кончился. Ни ампулы не осталось.

Через открытую дверь купе донесся такой жуткий вопль, что Рэма замутило.

Отец сорвался, убежал. Минуты через две крик прекратился.

– Принудительно усыпил, пережав артерию, – хмуро сообщил отец, вернувшись. – Это плохо, вредно. А что делать? Я с дороги про морфин телеграмму дал, а всё не везут.

– Что с ним? – спросил Рэм, вытирая холодные капли со лба. Он в жизни не слышал подобных воплей. И не думал, что человек способен издавать такие звуки.

– Плохое ранение. В пах. Ты меня не отвлекай... – Отец потер висок. – Так вот, я должен с тобой поговорить об очень важном. Перед тем, как ты попадешь туда. На фронт. Я помню себя в двадцатом году. Что я там увидел, что испытал. И как это на меня подействовало. А ведь я был старше тебя, и к тому времени уже всякого навидался, через многое прошел. Ты же совсем еще мальчик. Война – совсем не то, что ты себе воображаешь...

Здесь-то Рэм и начал злиться. Ах, он мальчик? С романтическим воображением?

А отец на него не смотрел, щурился через очки на потолок – была у него такая привычка, будто сам с собой разговаривает. Это тоже бесило.

– ...Ты вот сейчас побледнел, когда услышал крики раненого. А это самое лучшее, что есть на войне. Когда оказывают помощь человеку, который страдает. Всё остальное много хуже. И страшней. Даже не смерть и раны, хотя это, конечно, кошмар, а... – Антон Маркович зашевелил пальцами, будто пытался ухватить правильные слова. – ...Растаптывание личности. Превращение человека в кусок мяса. Животный ужас, который ничему не учит, а только убивает всё, с таким трудом накопленное воспитанием, чтением книг, любовью... И еще грязь. Всегда, повсюду, во всех смыслах!

Тут он наконец посмотрел на сына. Глаза часто мигали. В них металась паника.

– А ты еще записался в пехотное училище! Все знающие люди говорят, что это самое страшное! Я не мог тебе про это написать. Письма читает цензура. И я никогда себе не прощу, что не был с тобой, когда ты принял это решение. Я бы уговорил тебя поступать в военно-медицинскую академию. У меня там есть знакомые. В конце концов, фамилия Клобуков в медицинском мире чего-то стоит. Я знаю, ты не хочешь быть врачом, но пока ты учишься, закончилась бы война, а там можно было бы перевестись. И я не сходил бы с ума от мысли, что...

Он не договорил. Рэм решил, что с него хватит. Главное, какой смысл в этих причитаниях? «Бы» да «кабы».

Ответил он нарочно резко, даже цинично. Знал, что отца это покоробит.

– Что ты со мной как с недоумком разговариваешь? Я не идиот. С четырнадцати лет своим умом живу. Думал я про академию. Но туда, знаешь, какой конкурс? Умных много. По-честному я бы не поступил, у меня с химией швах. А по блату – это надо папу академика иметь. Ты ведь пока не академик?

Отец виновато заморгал. Это было приятно.

– Думал в военно-инженерное. Там сдают физику с математикой, я поступил бы. Ускоренный курс двенадцать месяцев, война бы точно закончилась. Но у них анкетная комиссия. Меня бы завернули, с такой матерью. А в пехотное берут всех. Даже таких, как я. На пушечное мясо мы годимся.

Своего Рэм добился. После этого отец перестал разговаривать с ним как с маленьким.

– Ты изменился, – пробормотал. – Говоришь как сорокалетний. Так тоже нельзя. Куда ты спешишь? Успеешь еще состариться.

– Вряд ли. Потому и спешу, – жестко сказал Рэм – и тут же пожалел. Отец съежился, словно его ударили.

Оба замолчали, потому что чувствительных слов произносить не умели. А потом отец сменил разговор. Имелась у него такая интеллигентская повадка – сворачивать от неприятных тем в сторону.

– Ты написал, тебя распределили на Первый Украинский? Есть небольшая просьба. У меня там в штабе служит старинный знакомый, некто Бляхин Филипп Панкратович.

– Помню, – кивнул Рэм.

– У него в Москве жена. Я ей позвонил сегодня, сказал, что ты туда едешь. Она очень просит захватить посылочку, небольшую. Такие оказии нечасто бывают.

И потом они говорили уже нормально, без надрыва. Про всякое малосущественное. Оба, конечно, думали про одно: не последний ли раз видятся, но об этом не было сказано ни слова. На прощанье отец сделал движение, словно хотел обнять, но лишь слегка развел руки и заморгал. Не было у них в семье такого завода. Рэма и в детстве обнимала только мама, папа никогда.

В горле встал ком. Рэм перестал смотреть на отца, чмокнул Адьку, которая всё это время сидела, сосредоточенно рисовала что-то. У нее был набор цветных карандашей, но она почему-то пользовалась только синим и коричневым.

– Под бомбежку не попадите, – сказал Рэм на прощанье. Подумал, что это прозвучало так себе. Мол, кроме бомбежки вам на вашем санитарном поезде ничего не угрожает. Не то что мне.

Буркнул:

– Ну, я напишу.

И пошел, закусив губу, чтоб не раскваситься. Даже забыл фотокарточку отдать, в офицерской форме при лейтенантских погонах, хотя специально для них снялся.

На перроне оглянулся. Отец стоял на лесенке вагона, махал рукой. Ади не было. Для нее существовало только то, что перед глазами. Да и то не навсегда.

Перед эшелоном Рэм заехал к Бляхиным, на улицу Кирова. Ева Аркадьевна, пухлая женщина с золотыми кудряшками и золотыми зубами, вкусно накормила борщом и котлетами. Дала сверток, заполнивший половину вещмешка (правда, он у Рэма был тощий). Объяснила, что там носки собачьей шерсти, от подагры, фуфайка какой-то особенной вязки, тонкая, но очень теплая, и две пачки лечебного чая, потому что у Филиппа Панкратовича на нервной почве хронический гастрит.

С этой посылкой Рэм теперь и сидел на проходной.

Довольно скоро к окошку подошел ефрейтор. Дежурный сказал ему, кивнув на Рэма:

– Кузовков, проводи младшего лейтенанта на Шестой, до КПП. И живо назад, а то знаю я тебя.

– Обижаете, товарищ майор, – нисколько не обиженно, а по-домашнему ответил ефрейтор.

Он вообще был какой-то неармейский. Сильно пожилой, с почти совсем седыми усами. Шел вразвалочку, чуть припадая на ногу, встречным офицерам честь отдавал мягко, будто кот лапой. И с любопытством поглядывал на Рэма.

Когда они вышли во внутренний двор, спросил:

– На Шестой объект, значит? По вам не скажешь.

– А что там?

– Идете и не знаете? – удивился Кузовков. – Управление НКВД-НКГБ-ГУКР, трибунал и прочие режимные подразделения. Вы в которое?

Что такое ГУКР (ефрейтор так и произнес, а не «ГЭУ-КаэР»), Рэм сообразил, но не сразу. Главное управление контрразведки. Ишь ты!

– Сам не знаю, – сказал он. – Мне только посылку из дому передать.

– А кому, если не военная тайна? – не отставал любопытный Кузовков. – Я раньше на Шестом служил в хозяйственном взводе, пока в комендантскую роту не перевелся. Почти всех там знаю.

– Подполковнику Бляхину.

– А-а, ОПФЛ.

Этой аббревиатуры Рэм перевести уже не смог. Спросил.

– Отдел проверочно-фильтрационных лагерей. наших пленных, кто у немца был, шерстят. Кого на фронт, кого в другую сторону.

Шел ефрейтор медленно, Рэм все время его опережал – хотелось побыстрее избавиться от посылки, а то еще застрянеш там, опоздаешь на встречу с Уткиным. Но Кузовкова с его хромой ногой было жалко.

– Хотите, чтоб я шел помедленней? – спросил Рэм, обернувшись.

На участливую интонацию дядька откликнулся вовсе по-неуставному:

– Я всегда хочу только одного, на другие хотелки не размениваюсь. Мне умный человек сказал, давно еще: всегда, говорит, хоти чего-то одного, самого главного, но очень сильно. Тогда сбудется. – Ефрейтор остановился отдышаться. – А помедленней неплохо бы. Колено от сырости ноет.

– Чего же вы сильно хотите?

Кузовков удивился:

– Того же, чего все. Кроме дураков и жиганов. Дожить до конца. Всё прочее важности не имеет.

Везет мне на философов, подумал Рэм. Вчера капитан, теперь ефрейтор.

– А жиганы это кто?

– Кому война – мать родна. Вся пакость от них... Сейчас, товарищ младший лейтенант. Минутку еще.

Он тяжело дышал, да еще, согнувшись, тер колено. Зачем таких стариков вообще призывают? Какой от них прок?

Чтоб не давить на бедолагу, Рэм стал крутить сигарку – вроде как и сам не прочь перекурить. Предложил провожатому – тот покачал головой, постучав себя пальцем по сердцу.

– А чего вы с Шестого объекта в комендантскую роту перевелись? – рассеянно спросил Рэм. – Тут лучше?

– Это как посмотреть, – охотно и обстоятельно принялся отвечать Кузовков. – В смысле главного хотения хуже. Потому что иногда определяют в сопровождение, когда начальство едет на передовую. Есть у нас в штабе любители чуть что на фронт таскаться, да еще в самое печево. На прошлой неделе товарищ начинж вдоль Одера взад-вперед катался, места для переправы искал. Ну и мы за ним, на «студебеккере»... Два раза чуть не накрыло. Особенно когда фриц с минометов стал садить. Сзади, спереди, жуть! Всё, думаю. Либо убьет, либо покалечит. Когда я служил на Шестом, такого не бывало. Но там по-другому покалечиться можно, тоже не дай бог...

– Как это «по-другому»?

Ефрейтор внимательно посмотрел на Рэма, будто прикидывая, говорить или нет.

– Есть там один уполномоченный, фамилию не скажу. Когда ему надо результат дать для трибунала, берет наших, из хозвзвода, в свидетели. Мол, по заданию органов с оперативными целями был помещен в камеру к подсудимому и тот при личной беседе сознался в том-то и том-то. Трибуналу больше ничего и не надо. М-да... Наши ходили, куда денешься. Хочешь служить в тихом месте – делай, что говорят. А это, считай, человека на смерть послал. И живи потом, вспоминай... Нет уж, лучше в комендантской. Там, если покалечит, то руку или ногу, а не душу.

Прямо Платон Каратаев, подумал Рэм, только с поправкой на эпоху. И обругал себя: черт, пора выбираться из литературы в настоящую жизнь.

– А... ничего, что вы мне это рассказываете?

– Я на свете давно живу. – Кузовков подмигнул. – Вижу, кому чего можно говорить, чего нельзя. Пойдемте, что ли? До ихнего КПП еще через два двора идти, а дежурный заругается, если я долго.

Филипп Панкратович оказался не таким, каким его запомнил Рэм. Во-первых, не высоким, а, пожалуй, ниже среднего роста. Во-вторых, не худым и подвижным, а неторопливым и довольно полным – Жорка сразу определил бы по животу, что тыловик. Лицо одутловатое, под глазами мешки. Лысина с зачесом. Очень немолодой, даже для подполковника. Пожалуй, старше папы.

– Ты, что ли, Клобуков-младший? – спросил отцовский знакомый. – Ева по телефону говорила.

С фронта домой по телефону звонит, подумал Рэм. Роскошно.

Бляхин разглядывал его с немного странной, словно бы настороженной улыбкой.

– Не похож на батьку. И на мать не слишком.

Рэм обмер.

– Вы знали маму?!

– Не довелось. – Подполковник улыбаться перестал. – На фотографии видел. Не спрашивай где. Не имею права сказать.

Сердце так и заколотилось. Про мать у Рэма с отцом разговоры были какие-то куцые, на сплошных недомолвках. Только про хорошее или смешное. Такого запомнилось много, потому что мама сама была веселая. И никогда – про то, что с нею произошло. Один раз, перед самой войной, Рэм как-то набрался духу, пристал к отцу. Почему маму арестовали? Как получилось, что она умерла в тюрьме? Но у того задрожал подбородок, из глаз хлынули слезы, еще и за сердце схватился. Рэм жутко перепугался и никогда больше этого разговора не затевал. Но думать, конечно, думал. Часто.

Неужели Филипп Панкратович что-то знает, по своей чекистской линии?

Они молча шли через какой-то хозяйственный двор с гаражами. У стены там валялся бюст Гитлера, весь в дырках. Похоже, по нему стреляли из автомата.

– Нам вон туда, – показал подполковник на видневшуюся в дальнем конце пристройку. – Ведомство у меня невидное, выделили на задворках какую-то сарайку. Там и обретаюсь.

На Рэма он поглядывал, пожалуй, одобрительно.

– Да, совсем ты на Антоху не похож. Он как подушка, а в тебе чувствуется железный стержень. Советское воспитание. Рэм – это Революция-Электрификация-Механизация, так что ли? Помню тебя, как ты планер собирал. Чего ж не стал летчиком или конструктором?

– Война кончится – стану. Конструктором, – коротко сказал Рэм. Он очень хотел спросить про мать, но пока не решался. Может, попозже получится?

– Ты, как мой Фимка, двадцать шестого?

– Почти. Двадцать седьмого, январский.

– Всё одно ровесники.

«Сарайка» внутри была вполне ничего себе. С собственной проходной, за нею казенный коридор, двери кабинетов. На стене красный транспарант с необычной надписью: «За Родину сражаются достойнейшие сыны нашего социалистического отечества». А, это потому что тут фильтруют, кто достоин, а кого в лагерь, сообразил Рэм.

В кабинете у Бляхина ничего особенного не было. Стол, сейф, два портрета – товарищ Сталин и товарищ Дзержинский.

– Вот, от Евы Аркадьевны... – Рэм достал посылку. – Она просила лично, из рук в руки, я только поэтому. Я пойду? Мне еще в кадровое за назначением, – соврал он, потому что Филиппу Панкратовичу про уткинские затеи знать было незачем.

– Куда торопишься? Сядь. – Бляхин повелительно показал на стул. – С сыном познакомлю. Он в соседнем корпусе служит, в ОЧО.

Набрал короткий, из четырех цифр, номер.

– Фимка, давай ко мне. От мамки посылка... Ничего, скажи Лысенке – отец зовет. Давай-давай, живо.

И Рэму, с гордостью:

– ОЧО – это Оперативно-чекистское отделение по работе с пленными фрицами. У Фимки немецкий с детства. Он Коминтерновскую школу кончал. Толковый парень. Вы подружитесь.

Сел напротив, лукаво улыбнулся.

– Антон, поди, неспроста тебя к Еве послал. Интеллигент, а умный. Правильно сделал... Прикину, куда тебя пристроить.

Только сейчас, в эту минуту, Рэм, идиот, допер, почему отец повернул неприятный разговор именно на посылку. Вот что у него, оказывается, было на уме!

Даже со стула вскочил.

– Я не за тем к вам! Честное слово!

Филипп Панкратович засмеялся.

– Ты-то понятно, что не за тем. Тебе в восемнадцать лет мозги еще по штату не положены. А папка твой молодец, позаботился о сыне. – Он задумчиво почесал плешь. – Но тут покумекать надо... Я бы взял тебя к себе. Кадров не хватает, запарываемся. В прошлом году основной контингент для пополнения был с оккупированных территорий, а сейчас пошли пленные из немецких лагерей. Знаешь, их сколько? Не имею права сказать, но очень много. Я, честно сказать, сам не подозревал. Прямо зашиваемся... Но нет, к себе не смогу. – Бляхин сокрушенно развел руками. – Анкетка у тебя подкачала...

– Я понимаю, – быстро сказал Рэм. – У меня мать была репрессирована. Я с этим сталкивался уже. Но я, товарищ подполковник, правда не собираюсь в тылу служить...

Бесшумно, без стука и скрипа открылась дверь. Вошел младший лейтенант, ростом пониже Рэма и поуже в плечах, лицом похожий на подполковника: тоже скуластый, нос картофелиной, глаза пуговицами.

– Гляди, Фим, чего мамка прислала, – стал показывать ему вещи Бляхин. – Носки и чай мне, фуфайка тебе. Чтоб не простужался. И познакомься. Это Рэм Клобуков, сын моего товарища по Первой Конной.

Парень крепко пожал руку, стал щупать шерсть. Рэму показалось странным, что Ева Аркадьевна говорила только о муже и всю посылку, ту же фуфайку, собрала только ему. Наверно, у них в семье так заведено: отец сам распределяет, кому что.

А Филипп Панкратович вернулся к прерванному разговору. Видно было, что этого человека с темы не собьешь.

– Насчет анкеты. Дело не в аресте. Твоя мать – Мирра Носик, кажется? – не была репрессирована. С чего ты взял? Это Антон тебе наплел? Ошибается он. Арестовали ее по ошибке. Был в органах один двурушник, вражина. Наделал делов. За что и ответил. Такое было время. Окопалась при Ежове в органах всякая сволочь. Я и сам тогда пострадал... – Вздохнул. – Но вычистила их партия. Больше ничего рассказать тебе не могу, но знай: твоя мать была советским человеком. Умерла во время следствия – это да. Горе. Но судом не осуждена, и дело было закрыто. За отсутствием.

У потрясенного Рэма в голове мелькнуло маловажное: выходит, зря не подавал в инженерное?

– Тут не в политике дело... Ты по документам какой национальностью записан? По отцу или по матери?

– По отцу. Русский.

– Это хорошо, но... Нет, к нам не получится, – сказал Филипп Панкратович, додумав какую-то непростую мысль. – Ладно. Порешаю вопрос. Есть и другие места.

– Не нужно ничего, очень прошу. – Рэм старался говорить как можно тверже. – Я уже договорился. Меня берут в дивизионную разведку. В Шестую армию, 74-й корпус.

Номер дивизии он забыл и испугался, что Бляхин спросит, но тот не спросил.

– Все-таки похож на папаню. – Подполковник качнул головой. – Тот тоже был тихий-тихий, но как вожжа под хвост попадет – не сдвинешь... Гляди только, отпиши Антохе, как было: я предлагал, ты сам отказался.

Рэму показалось, что в голосе Бляхина прозвучало облегчение.

– Обязательно. Спасибо вам.

Поднялся.

– Проводи его до КПП, Фима. Вы молодые, найдется, о чем побалакать. Ну, бывай, Антоныч. Воюй геройски, возвращайся целый, на радость папке.

Во дворе бляхинский сын что-то говорил, но взволнованный Рэм услышал не сразу.

– Что? Извини, у меня голова кругом.

Мама невиновна! Она не враг народа!

Остановился.

– Подожди, а? Я вернусь, на минутку.

Фима спросил:

– Зачем?

– Хочу спросить, от чего мать умерла. А то потом буду все время об этом думать...

– Ты чего, не знаешь, от чего на следствии умирают? – недоверчиво спросил Бляхин-младший.

– Не знаю. От чего?

Пару секунд Фима смотрел молча, потом сказал:

– От воспаления легких. Стены каменные, сырые. Если сквозняк – пиши пропало. А к батю с этим не лезь. Он что мог – рассказал. Я чего говорю: ты сейчас куда? Потому что у меня дежурство кончилось. Фрицев пленных почти нету. Начнется наступление – ночью не поспишь. А пока нормально. Давай ко мне. Посидим, выпьем, про Москву расскажешь. Я там год не был. Какая она?

– Все такая же. Пустоватая только. – Рэм посмотрел на часы. – Мне через полчаса на вокзале надо быть. Если с назначением всё устроилось, может, сразу и поеду. А если нет, придется где-то ночевать. Пустишь?

– Само собой. Давай тогда до вокзала, а там как выйдет.

Они шли бок о бок по уже темнеющим улицам, болтали о Москве. Везло Рэму сегодня на москвичей.

– В дивизионную разведку, значит, попадешь? – спросил Фима с завистью. – Хорошее место. Под победу точняк орден дадут – «звездочку», а то и «знамя». Будешь перед девчатами форсить. А у нас по-максимуму – «За боевые услуги». Тоже еще медаль! Хоть не носи. Сразу видно: герой тыла.

– Махнемся службой? – засмеялся Рэм.

– Нет уж, останемся при своих, – хохотнул Бляхин.

Уткина они прождали до семи двадцати.

– Не придет твой старлей. Загулял. Чтоб разведчик кореша или бабу не встретил – такого не бывает, – в конце концов заявил Фимка. – Чего зря

мерзнуть? Двигаем ко мне. Коньяку налью, настоящего, французского.

Новый приятель квартировал при штабе, в маленькой, но отдельной комнатенке. Рэм снова не удержался, подверг кору головного мозга этиловому воздействию. Из любопытства к бутылке с короной, медалями и длинной надписью, которая хрен знает как читалась. «Коурвойзьер» оказался сильно хуже польского самогона. Горло не обжег, а ободрал, и на вкус противный. Полстопки Рэм осушил залпом, а после не притронулся. Зато Фимка подливал себе не переставая и скоро был уже хороший.

– Ефим, ты бы полегче, – попросил Рэм. – Батя твой заглянет, а у нас тут...

– Во-первых, не заглянет. Он об это время своей машинистке диктует. – Выразительным жестом Фимка показал, что именно имеет в виду, и оскалился. – А во-вторых... – Икнул, посерьезнел. – Я не Ефим, а Серафим. Старинное русское имя.

– Длинно.

– Ну зови «Серый». А Ефимом не зови. Евреем пахнет. Это сейчас ни хт гут.

Рэм удивился:

– Почему?

– Потому. Видал, как батя закручинился, что у тебя мамаша – Мирра? А я знаю, в чем дело. Постановление было секретное, еще в позапрошлом году. Про евреев. Что нет им от партии доверия. Я сам через это пострадал, потому что...

– Как это нет доверия? – перебил Рэм. – Почему?!

– Потому что у евреев везде родина, а значит нигде не родина. Пока мы готовили мировую революцию, это было хорошо, что у нас евреев наверху много. Свои со своими всегда договорятся. А в сорок третьем политика поменялась. Говорят, товарищ Сталин в Ялте пообещал Рузвельту и Черчиллю, что мировой пролетарской революции не будет. Тогда и Коминтерн прикрыли. Мою школу переименовали из Парижской Коммуны в имени Луначарского...

– Не будет мировой революции?!

Рэм не поспевал за таким количеством сногшибательных новостей.

– На хрен мировую революцию. Будем делать Россию великой. Чтоб размером, как при царе, и даже больше. Гимн у нас теперь какой? «Сплотила навеки Великая Русь», а не «Весь мир голодных и рабов». То-то, соображай.

Серафим хотел постучать собутыльнику пальцем по лбу, но не попал.

– И циркуляр был, в органы, для отделов кадров. Евреев, какие уже есть, придерживать, ходу не давать, а новых вообще не брать.

Так и не понятно было, верить ему или это пьяный треп.

– погоди. А ты-то за что пострадал? Ты же не еврей.

– Я без вины виноватый, – горестно сказал Бляхин. – Трагедия всей моей жизни. По метрике я знаешь кто? Фамилия «Цигель», а отчество «Абрамович». Абрам Цигель моим родителем значится. Чекист такой был. Его враги убили.

– Разве ты Филиппу Панкратовичу не родной сын? Вы же похожи!

– В том-то и дело, что родной. Я раньше как думал? Что папаня этого Цигеля обогатил. Иначе на кой ему со мной, чужим пацаненком, возиться? Но тут история мудреней. Долго рассказывать... – Печально подпер щеку рукой. – Короче, по жизни я стопроцентный русак, а по документам – еврей. У нас сам знаешь: жизнь – ничто, документ – всё... С позапрошлого года, как только секретная директива вышла, папаша за меня бьется, пороги обивает. Повинился, заявление написал: так, мол, и так, скрывал от партии, что Фимка мой родной сын, не приемный, и что мать у него хоть и непролетарского соцпроисхождения, но тоже русская женщина. Сейчас плохая национальность стала хуже, чем плохое соцпроисхождение, – пояснил Бляхин. – Но улита медленно едет. Папаня успел и получить выговорешник, и снять его, а моя анкета всё ползает по инстанциям. Даже когда новую метрику выправят, новый школьный аттестат и прочее, всё равно настоящей дороги мне не будет. Потому что для работников органов анкеты знаешь какие? До седьмого колена, со всеми прошлыми

именами. Чуть копни – Цигель вылезет. Вот почему я не в СМЕРШе и не в НКВД, а колупаюсь в драном ОЧО. Вся моя жизнь псу под хвост...

Горестная исповедь завершилась пьяными слезами. Рэм слушал, сочувственно кивал. Ему опять было всех жалко: и умершую в сырой камере мать, и заботливого Филиппа Панкратовича, и его несчастного сына, а заодно и себя. Уж всех, так всех.

Бисерным почерком

...Помнишь диспут «Главная проблема человечества» и как мы с тобою, не сговариваясь, подготовили выступление на одну и ту же тему? Другие первокурсники говорили кто про что: про социальную несправедливость, про низменность охлоса и эгоизм высших сословий, про слабость духовного начала перед телесным, а мы двое, каждый на свой лад, объявили: главная проблема людей в том, что они не умеют жить. Потому что никто не учит ребенка, как ему распорядиться даром жизни, а если и учат, то всякой чепухе. Человек не знает сам про себя, что? он такое, на что он годен и на что не годен, в чем его польза для себя и окружающих. Из-за этого мир населен никчемными, озлобленными, не нашедшими себя индивидами, которые несчастны сами и делают несчастными других. Я запомнил твою метафору, ты ведь всегда был поэтичнее меня. «Представьте розовый куст, на котором бутоны засыхают, так и не раскрывшись, – сказал ты. – Таково наше человечество».

Сегодня, глядя на то, что происходит с миром, я выразился бы жестче. Нераскрывшиеся бутоны по крайней мере никого не убивают, они обкрадывают лишь сами себя и красоту природы, но народ, состоящий из не нашедших себя людей, превращается в полчище саранчи, в миграцию обезумевших крыс, уничтожающих все живое. Мы обитаем в аду, и этот ад – дело наших собственных рук, результат того, что людей никто не научил быть людьми.

Если такова главная проблема человечества, то отсюда проистекает и главная его задача, говорили мы оба с юношеским пылом: с ранних лет научить каждого

жить осмысленно и счастливо. Насущнейшей потребностью цивилизации, стало быть, является создание правильной педагогики.

Сегодня подавляющему большинству людей цена – медный грош. Поэтому с ними и можно так обращаться: обманывать, унижать, порабощать, даже убивать. Велика ли важность, коли нас так много и все друг дружки стоят или, верней, ничего не стоят?

Тем большим сокровищем становится редкий счастливец, которому повезло обнаружить в себе некий ценный для мира талант. Такой человек не терзается тщетой жизни, не тратит ее на пустяки, он переполнен радостью созидания и делится плодами этой деятельности с другими. Рай на Земле наступит тогда, когда человечество будет сплошь состоять из подобных людей. Каждый будет драгоценен, и его потеря станет невозполнимой утратой для всех. Так что же может быть важнее умения возвращать подобных личностей?

Нам с тобой было по восемнадцать лет (или тебе девятнадцать?), и эта абсолютно прекрасная мечта ослепляла нас своим величием. Она, собственно, не казалась нам мечтой. Мы говорили, что исполнить задуманное будет не так уж трудно. Надо всего лишь разработать Систему, а потом применить ее на практике в специальном учебном заведении, и когда общество увидит, что это возможно – создавать совершенных людей, – произойдет педагогическая революция, самая грандиозная из всех революций, и в течение нескольких поколений планета преобразится до неузнаваемости.

Планета действительно преобразилась до неузнаваемости – еще раньше, чем мы думали. Только в иную сторону. Мы вели наши чудесные разговоры летом четырнадцатого года, накануне краха двухсотлетней Эпохи Разума. Сейчас, четверть века спустя, от разума ничего не осталось, мир сошел с ума. Мой нынешний план тоже может показаться сумасшествием. Нашел время и место для педагогических экспериментов, скажет мне всякий нормальный человек.

А по-моему, как раз сейчас самое время. Эта война прочистит человечеству мозги, и оно наконец поймет, что так далее жить нельзя. Люди будут готовы к восприятию новых идей, новых рецептов, новых надежд. Тут-то моя работа и пригодится. И то, что она проводилась и испытывалась в невиданно тяжелых условиях, лишь подтвердит верность моего метода.

Я говорю «моя работа», «мой метод», но это, конечно, неправда. Ведь я начинаю не с нуля. Кое-что, даже многое, уже обдумано и осуществлено моими предшественниками.

Система, которую я разрабатывал много лет, принадлежит к тому направлению педагогики, которое называют «педоцентризмом», то есть воспитание ориентируется на личные особенности конкретного ребенка, а не на какой-то комплекс требований, для соответствия которому нужно выдрессировать маленького человека.

Как ты, конечно, помнишь из курса истории педагогики, идея общества, сильного не государственной мощью, а качеством своих жителей, зародилась еще в восемнадцатом веке. Тогда же, в эпоху просвещенного абсолютизма, были сделаны первые попытки вырастить людей нового типа: умеющих самостоятельно решать проблемы своей жизни, мыслящих, ответственных, внутренне свободных. Появились выдающиеся педагоги-практики, которые создавали собственные экспериментальные школы. В середине позапрошлого столетия одно маленькое государство, немецкое княжество Ангальт-Дессау, управляемое прекраснодушным принцем Леопольдом, завело у себя педоцентрические учебные заведения «филантропинумы», где детей всех сословий обучали не определенной сумме знаний, а умению жить

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Крепость Бреслау (нем.).

----

Купить: <https://tellnovel.com/ru/boris-akunin/trezorium>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)